

Топоров А. М. В старом Барнауле. Штрихи воспоминаний // Алтай.
– 1969. – С. 51–97.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

В Москве, в Центральном Военно-Историческом архиве хранится «дело» о политическом процессе революционной организации «Воля» (одной из ветвей народолюбчества), действовавшей под руководством известного революционера Германа Александровича Лопатина. Этот процесс, известный под названием процесса «21», тянулся в 1885–1887 годах. Архивные материалы о нем составляют 47 объемистых томов.

По лопатинскому процессу проходил и революционер Леонид Петрович Ешин, сын обедневшего дворянина, бывший студент-юрист Харьковского университета.

Отбыв каторгу в Сибири, он несколько лет жил там вольнопоселенцем. Женится. Имел четырех детей. В 1905–1906 годах принимал активное участие в революционном движении в Бийске. Снова подвергался арестам.

В 1909 году вернулся на родину в село Старый Лещин Курской губернии. Жил у сестры Александры Петровны, которая после смерти жены Леонида Петровича воспитывала его детей. Здесь-то я и познакомился с Леонидом Петровичем Ешиным.

Энциклопедически образованный, многогранно талантливый человек, горячий поборник народного просвещения, он стал заботливым наставником в моем самообразовании.

Как известно, дореволюционная Курская губерния была едва ли не самой захудалой во всей России. А «бразды правления» ею держали в своих лапах махровые черносотенцы-мракобесы.

Революционеру Леониду Петровичу Ешину не было житья-бытья в «душной родной стороне». К тому же, он был влюблен в Сибирь – страну необозримых просторов, неисчислимых богатств, в страну великого будущего, в которое он верил незыблемо.

Сибирь неотразимо влекла к себе. И в конце августа 1912 года вся семья Ешиных, а с нею и я двинулись в «край чудес».

Мы осели в Барнауле. Леонид Петрович устроился на работу в земельном отделе Управления Алтайского округа кабинетских владений, а я получил место учителя в соборной Петропавловской церковноприходской школе, в центре города. Школа эта считалась образцовой. В ней будущие педагоги проходили практику...

По недостатку необходимых для того специальных знаний, я не берусь давать полную экономическую характеристику Барнаула тех лет, но, по-видимому, он был богатым купеческим городом. Через Бийск и Барнаул, по могучим водным артериям — Бии и Оби — направлялись за границу грандиозные потоки даров Алтая: сливочного масла, мяса, пушнины, кож, меду, рыбы, пшеницы, муки, сала... На барнаульской пристани тянулись длиннейшие склады торговых представительств Англии, Голландии, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии и других государств.

В зимнюю морозную пору к ветеринарно-санитарной станции по многим улицам шли бесконечные ряды саней, заваленных тушами предназначенного к отправке за границу мяса — для клеймения.

В огромном подвале на Пушкинской улице торговал колониальными товарами татарин Бахтияров. Здесь круглый год продавали имущим горожанам виноград разных сортов и стран, апельсины, лимоны, мандарины, персики, бананы, винную ягоду, дыни, арбузы, груши, сливы, яблоки, вишни, кокосовые орехи, урюк, сладкие рожки и т. д.

А универмаги Второва, Морозова, Смирнова, тоже предназначенные для «чистой» публики, могли бы стоять на любой центральной улице Москвы или Петербурга. Магнату Второву принадлежали огромные торговые дома еще и в Бийске, Томске и прочих сибирских городах.

Пароходовладельцы братья Мельниковы и Илья Фуксман, пимокат и шубник Поляков, «электрический и мельничный король» Платонов, купцы Суховы и Федуловы, пивозаводчики братья Ворсины тоже были крупными капиталистическими тузами в Барнауле...

Уже в начале века Барнаул входил в ряд культурных центров Сибири. Культуру принесли в него многочисленные политические ссыльные, осевшие здесь на вольнопоселение. С ними были тесно связаны путешественник, исследователь Центральной Азии, ботаник, этнограф, географ и фольклорист Григорий Николаевич Потанин, другой не менее крупный исследователь Сибири, археолог и писатель Николай Михайлович Ядринцев, открывший развалины древней столицы Монголии — Каракорума и доказавший существование в Центральной Азии древнейшей самобытной письменности. Г. Н. Потанин по своим общественно-политическим взглядам принадлежал к буржуазно-либеральному течению сибиряков-областников, а Н. М. Ядринцев — к народническому.

В культурной жизни Барнаула Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев оставили глубокий след. Не могу не отметить удивительного для того времени факта. С 1912 года в фойе Народного дома (теперь краевого театра) висели три прекрасных портрета: социалиста-революционера Василия Константиновича Штильке, Григория Николаевича Потанина и Николая Михайловича Ядринцева.

В. К. Штильке был инициатором создания в городе Народного дома и учительской библиотеки при нем. Как с этим мирилось царское начальство — остается загадкой!

Политические ссыльные добились открытия в Барнауле общегородской библиотеки, которая помещалась на Бийской (ныне Никитинской) улице, где теперь работает телефонная станция (д. № 90). Заведовала библиотекой тоже политическая ссыльная Ульяна Павловна Яковлева, самоотверженно преданная делу народного просвещения.

И ныне стоит на Никитинской улице Барнаула домик под номером 145, в котором почти шестьдесят лет тому назад поселились Ешины и я. Он принадлежал некоему Боброву, управляющему предприятиями купца Федулова.

В семью Ешина стекались самые интеллигентные люди города: литераторы, артисты, адвокаты, композиторы, певцы, политические ссыльные, хормейстеры и дирижеры оркестров, художники, лучшие преподаватели учебных заведений. Эти собрания посещали и либерально настроенная жена заместителя начальника Алтайского округа Мария Николаевна Андреева, и начальница частной женской гимназии Мария Флегонтовна Будкевич, ее муж Эдуард и дочери. Супруги Будкевич когда-то были политическими эмигрантами в Швейцарии. Дети их получили высшее образование в Цюрихе.

Разговорам и дебатам по разным вопросам науки, политики, литературы и искусства не было конца в квартире Ешиных! Я, как губка воду, жадно впитывал их, пополняя свои скудные знания, вынесенные из церковных школ.

Взяв курс на народный университет имени Шанявского в Москве, я усиленно готовился к поступлению в него. В школе я вел только один класс. В час дня занятия кончались. Свободного времени у меня оставалось уйма. Внешкольной общественной работы — никакой. После обеда я уделял два часа переписке нот: в них нуждались оркестры и хоры, которых в Барнауле и тогда было много. А ноты я писал красиво, как печатал, и потому имел заказов по горло. Зарабатывал на переписке нот изрядно, копил деньги на учебу в Москве. Вел спартанский образ жизни. Продолжал учиться игре на скрипке, беря уроки у лучших педагогов города. Не пил, не курил. Аккуратно посещал театры, кино, концерты. С четырех до семи часов вечера регулярно работал в городской библиотеке: читал, делал выписки, конспектировал. Тут моей наставницей была Ульяна Павловна Яковлева, опытный «лоцман по книжным морям». Она приучала читателей вдумчиво и добросовестно работать над книгой. С этой целью учиняла выборочные собеседования с нами, своего рода экзамены по прочитанному. Не раз и я попадал к ней

на такие экзамены. Принесешь, бывало, книги на обмен, а она поманит тебя пальчиком в свой директорский кабинетик и начнет допрос. Хорошо помню такой:

— Ну, что прочли?

— «Новый Органон» Франциска Бэкона Веруламского.

— Ага... Поняли что-нибудь?

— Понял.

— О чем же он говорит в этой книге?

— Об опытном, индуктивном, методе познания мира.

— В чем же он заключается?

— В том, что все предметы и явления внешнего мира познаются нашими внешними чувствами, опытом, а их восприятия проверяются нашим рассудком.

— Так, так... А покажите-ка выписки из книги. Показываю.

— А как до Бэкона философы познавали мир?

— Умозрительно, без опытных доказательств или эмпирически, то есть накапливали факты, не проверяя их собственным рассудком.

— Ну, идите, меняйте книгу...

Эта маленькая женщина в больших темных очках, делавших ее похожей на летучую мышь, давала всем читателям полезнейшие советы о самообразовании. Если нужных книг в городской библиотеке недоставало, то по особому заказу Ульяна Павловна добывала их даже из-за границы.

Конспектов, записных книжек, читательских дневников и карточек для картотеки цитат, вырезок из газет и журналов у меня накопилась куча! Они были неизменными спутниками и помощниками в моей массовой культработе.

В Барнауле я проработал массу первоклассной научной литературы. О художественных произведениях уж не говорю: я «проглотил» их невесть сколько!

Леонид Петрович Ешин убедительно разъяснил мне, что учитель, по самому роду его профессии, — публичный оратор и что поэтому он должен правильно и красиво читать и говорить. Мой пестун часто повторял излюбленный афоризм из знаменитой книги французского академика Легуве «Чтение как искусство»: «Голос — это такой толкователь и наставник, который обладает дивной, таинственной силой».

И я, сколько позволяли силы и способности, учился ораторскому искусству; учился упорно, ежедневно, штудировав книгу О. Озаровской «Школа чтеца», сборники речей судебных и политических корифеев.

В искусстве выразительного чтения я тренировался один у себя в комнате. Воображал персонажей из прочитанных книг, искал интонации их голосов, жесты, мимику; размечал в тексте логические и грамматические ударения, психологические паузы, разгадывал подтекст. Стоя перед зеркалом, произносил обвинительные речи, например против городничего из «Ревизора», Иудушки Головлева; или, начитавшись потрясающих антирелигиозных сочинений А. Мальвера, Ростиславова, Мордовцева, «обличал» безумную роскошь, корыстолюбие и ханжество высших монашествующих иерархов; или защищал на воображаемом суде Катюшу Маслову...

Все добытое в этих изнурительных упражнениях я применял потом при чтении художественных произведений детям и взрослым.

Врезался в память эпизод из первых дней моей чтецкой практики в Барнауле. Дело было в необычной аудитории.

Зима 1913–1914 годов. Барнаульское филантропическое общество собрало беспризорников в школу при Богородской церкви. В программе сбора значилось: назидательное слово о детском благонравии, художественное чтение, пение и чай с мясными пирожками.

Устроители сбора предложили мне прочесть детям какое-нибудь художественное произведение. Я выбрал несколько глав из книги «Приключения барона Мюнхгаузена».

И вот я стою перед страшной аудиторией. Грязные, озлобленные страданиями лица, лохматые головы, одежда — замызганное, зловонное тряпье. Голые пальцы ног торчат из разбитых ботинок, обутков и пимов. Несчастное юное человеческое «дно» шумело, гудело, толкалось и ругалось...

Назидательное слово священника оно пропустило мимо ушей. Настал мой черед. Читаю о попытке барона залезть на луну по бобовому растению, о разорванной лошади, о жареных утках. Мои слушатели постепенно затихают. А через две-три минуты они хохочут во всю матушку-головушку! Затихают — и снова хохочут.

Закрываю книгу. Крики:

— Дядь, еще, еще читай!

— Хочь одну еще!

— Ой, баско!

— Хлопает¹, а интересно!

— Дай нам эту книжку!

— Дай, пожалуйста!

И я совершил преступление: подарил ребятам библиотечную книгу, Вместо нее купил библиотеке другую.

ГАЗЕТЫ И КНИГИ

В мое время в Барнауле выходили две газеты: «Жизнь Алтая» и «Голос Алтая». Первую издавал либеральный купец Вершинин, торговавший головными уборами и имевший типографию. Сын его был членом Государственной думы. В 1912—13 годах газету редактировал известный сибирский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков, эмигрировавший во Францию, а затем в Америку, где и скончался в 1964 году. Первые его произведения отличались яркостью изображения сибирской природы, трагедии деревенской бедноты, страдавшей от захребетников. Однако в своей огромной эпопее «Чураевы» он изменил прежней демократической направленности, превратившись в заурядного бытописателя и религиозного мистика. Все написанное им за рубежом проникнуто пессимизмом и отрицанием революции.

Вслед за Гребенщиковым «Жизнь Алтая» редактировал социалист-революционер, бывший учитель Акиндин Иванович Шапошников. Наиболее талантливым сотрудником газеты был юрист по образованию, поэт и краевед Порфирий Алексеевич Казанский, печатавший свои ядовитые стихотворные фельетоны под псевдонимом «Премудрая крыса Онуфрий».

На литературных диспутах и судах публика с исключительным интересом ожидала остроумных выступлений карикатурно-низенького оратора с лицом бледно-песочного цвета, с пискливым, как у девочки, голосом.

Порфирий Алексеевич был едва ли не самым эрудированным барнаульцем. Он мог экспромтом прочесть увлекательную лекцию о Рафаэле, Паганини, Рубенсе, Репине, Бетховене, Чайковском, Шаляпине, Павлове, о материалистической диалектике, о расшифровке Шампольоном древнеегипетских иероглифов, о поэзии Шота Руставели, Шекспира, Мильтона, Гете, Блока и т. п.

Он знал и любил родной край, состоял членом Общества изучения Сибири. О ней он написал много краеведческих работ. Ей посвятил и два сборника стихотворений, изданных в Барнауле: «Песни борьбы и надежды» (1917 г.) и «Родному краю» (1918 г.). Сборники эти в наши дни являются библиографической редкостью.

На чьи средства издавалась газета «Голос Алтая», трудно сказать, но основной штат ее сотрудников подобрался тоже из политических ссыльных — социалистов-революционеров и социал-демократов. Подставным редактором числился некто В.

1 Хлопает — врет.

Досекин, а активными сотрудниками были Леонид Петрович Ешин и ссыльный Лашкевич. Фельетоны и публицистические статьи Леонида Петровича, подписанные псевдонимом Нето (Никто), имели большой успех у публики. Проведав настоящую фамилию Нето, читатели аплодировали ему при встрече в саду или фойе Народного дома.

К сотрудничеству в «Голосе Алтая» Леонид Петрович привлек и меня. Я начал с рецензий на спектакли и концерты.

Бедная редакция газеты помещалась на Томской улице (ныне ул. Короленко), на втором этаже кривого и трухлявого домишка. Было опасно подниматься по прогнившей лесенке в затхлую комнатку, в которой, утопая в табачном дыму, сидел щупленький морщинистый редактор В. Досекин.

Недолго протянул «Голос Алтая» — и замолк навсегда. В «Жизни Алтая» я опубликовал одну большую статью «Драма», в которой излил негодование по поводу самоубийства сельского учителя, затравленного жандармами. Читатели хвалили эту статью, но из-за нее я попал в неловкое положение. Когда я пришел в редакцию за гонораром, мне сказали:

— Гонорара вам не положено.

— Почему?

— Вы в рукописи не указали, что желаете получить за статью гонорар. Потому и не платим его.

Я и облизнулся!..

Недалеко от угла Пушкинской улицы и Соборного переулка (ныне Социалистического проспекта), в небольшом домике, ютился единственный тогдашний в Барнауле книжный магазин Василия Кузьмича Сохарева.

Низенький, красно-рыжий, юркий, с узенькими и стреляющими во все стороны глазками Василий Кузьмич был кипучим коммерсантом культурного типа. Он вышел из сельских учителей, но бросил школу и занялся книжной торговлей, стремясь на этом поприще и заработать побольше, и принести пользу делу народного просвещения.

Имея только двух подручных, он орудовал довольно солидным делом, вникая во все его детали. Постоянно и внимательно следил за лучшими литературными новинками, непременно читал их, критически оценивал, и потому каждому покупателю давал полную характеристику любой книги. Плохих книг он не продавал. Покупатели это хорошо знали, верили его рекомендациям и никогда в этом не раскаивались.

Как человек, интересовавшийся широким кругом вопросов общественной жизни, науки и культуры, Василий Кузьмич изучил эсперанто и даже написал и на свой счет издал в Барнауле учебник этого международного вспомогательного языка.

В магазине В. К. Сохарева сходились со всего города книголюбы и заводили свободные беседы, жаркие споры по разнообразным вопросам жизни, науки, литературы и искусства. Разумеется, я бывал завсегдаем магазина, заядлым участником всех этих словопрений, и они в сильной степени расширяли мой кругозор. Я всегда с благодарностью вспоминаю книжный магазин В. К. Сохарева, как одну из благодетельных школ, встретившихся на моем жизненном пути...

Мужская классическая гимназия, реальное училище имени Николая Второго, Мариинская женская гимназия, две частные женские гимназии — Будкевич и Красулиной, два городских училища, высшее женское, начальное, коммерческое и духовное училища — вот все те учебные заведения, в которых получала образование барнаульская молодежь привилегированных и состоятельных сословий.

Выдающихся педагогов дореволюционный Барнаул дал не много. Первым из них надо назвать историка реального училища Леонида Ивановича Шумиловского. Помимо преподавания, он занимался публицистикой, писал отличные статьи, выступал с лекциями, участвовал в литературных судах и диспутах, популярных в то время. В разгар гражданской войны он дошел до того, что стал сотрудничать с Колчаком, вошел в его «правительство» с портфелем министра труда и, конечно, бесславно кончил.

Другой педагог реального училища, естествовед Виктор Иванович Верещагин, долго изучал флору Алтая, опубликовал немало трудов о результатах своих исследований.

Бывший политический ссыльный, учитель русского языка и литературы Иван Леонтьевич Симанин, издавший несколько своих учебников, тоже личность самобытная. В конце многолетнего изучения русской грамматики он пришел к решительному отрицанию этой науки. На улицах Барнаула появилась широковещательная афиша о том, что Иван Леонтьевич Симанин прочтет в Народном доме лекцию на тему «Грамотность без грамматики».

Если во времена оны поэт Тредьяковский требовал «писать по звонам», то Иван Леонтьевич Симанин провозглашал: говорите и пишете так, как печатают в книгах!

На злополучную лекцию И. Л. Симанина яростно напали местные газеты. Особенно беспощадно громил ее Акиндин Шапошников, редактор «Жизни Алтая», бывший учитель русского языка и литературы.

Став посмешищем во всем городе, Иван Леонтьевич потихоньку исчез с арены общественной жизни. А был он умен, пытлив, но как-то сшибся с правильного пути в своих исканиях и пошел колесить. Поправить же его вовремя никто не мог. И дельный, полезный человек пропал втуне...

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Барнаульцы любят театр. Эта традиция давняя. Старый Барнаул тоже не обижал Мельпомену. В нем действовали театры: профессиональный (летний и зимний) Народного дома, Общественного собрания и Управления Алтайского округа.

Первый был общедоступный, второй — преимущественно купеческий, третий — чиновничий. В Народном доме играла сильная труппа антрепренера и артиста Батманова. В Общественном собрании подвизался с самодеятельным кружком бывший артист, затем любитель С. И. Новоселов, который готовил прекрасные спектакли, не уступавшие по мастерству постановкам в Народном доме.

А вот на летней сцене Общественного собрания (на углу Томской и Соборного переулка) «артисты»-проходимцы нередко угощали жадных до «клубнички» купцов, купчих да отставных военных порнографическими фарсами. Выступали здесь и лилипутские труппы.

В театре Управления Алтайского округа играли высшие чиновники-аристократы. Здесь изредка устраивали и детские спектакли. Ставили даже детские оперы, в которых начали свою карьеру замечательные певцы Шура Ракина и Роза Альперт. Вторая из них затем училась в Петербургской консерватории и стала оперной артисткой.

В театре Общественного собрания выдвинулся из рабочей среды лирический тенор Власов. На средства, собранные меценатами, он учился в Московской консерватории. Приезжая на каникулы, Власов давал концерты, сбор с которых поступал в его пользу. Дальнейшая судьба его мне неизвестна...

Театр — школа всестороннего просвещения и художественного воспитания общества. Эту сложную, благородную и почетную миссию превосходно выполняла многолюдная труппа Батманова. В ней были первоклассные артисты: героиня Маргер-Мирецкая, герой-любовник Сергеев, трагик Вартминский, комик Картанов, инженер-комик Перовская, протак Белостоцкий, неврастеник Волин, резонеры Самарин, Лельский и многие другие... Этой труппе были под силу все виды драматических произведений. Она ставила и оперетты. Богатейший репертуар ее составляли преимущественно пьесы высокоидейные, разнообразные по форме, захватывающие по содержанию.

Лишь очень редко, как уступка дурным вкусам, проскальзывали на сцену Народного дома пьесы, чуждые общему духу труппы, — либо модные, как «Ревность» Арцыбашева, либо нарядные, как «Каширская Старина» Аверкиева.

Все ведущие артисты этого театра и рецензенты бывали частыми гостями у Леонида Петровича Ешина. Я всегда внимательно слушал их разговоры и споры о пьесах, различные толкования их образов и смысла, исполнения ролей, образовательного и воспитательного значения спектаклей для народа. Артисты вспоминали исполнение ролей классиками сценического мастерства и тут же иллюстрировали свои суждения. Подробно, умно и тонко говорили о всех компонентах, создающих успех спектакля. От разборов поставленных в театре пьес переходили к общей оценке всего творчества того или иного писателя.

Нужно ли говорить о том, какую важную роль сыграли все эти беседы, споры, толкования в моем общем интеллектуальном развитии? Барнаульская квартира Ешиных явилась для меня высшим курсом литературно-театрального университета.

Вам понятен будет тот и горестный, и сладостный трепет, с каким я 20 июля 1964 года вновь увидел домик № 145 на Никитинской улице через 52 года после первого дня моей жизни в нем! Долго и грустно смотрел я на этот дом. В моем воображении прошла длинная череда незабвенных образов, подаривших мне бесценные культурные сокровища и давно канувших в Лету...

Спектакли в Барнаульском Народном доме шли неизменно с полным сбором. Я не могу припомнить дня, когда бы зрительный зал театра не был переполнен. Так любили барнаульцы сценическое искусство!

В августе 1913 года в Барнаул приехала всемирно известная хоровая капелла русской и славянской песни Маргариты Дмитриевны Агреновой-Славянской. Концерты капеллы вызвали фурор. Пребыванием ее в городе ловко воспользовался Батманов: он поставил спектакль по исторической пьесе П. П. Сухонина «Русская свадьба», в которой, между прочим, изображается обряд боярской свадьбы. Все акты пышного произведения Сухонина были перевиты русскими народными песнями. В эпизодах с участием жениха пели тенора и басы капеллы; в сценах у невесты — сопрано и альты. Более волшебного пения нельзя и представить! Что ни номер, то диво из див!

Роль невесты исполняла сама Маргарита Дмитриевна. В жизни статная, круглолицая, румяная, она была идеальной боярышней на сцене, точно вот-вот сошла с картины Маковского. А когда по ходу действия Маргарита Дмитриевна спела проникновеннейшую гурилевскую:

Матушка, голубушка,
Солнышко мое!
Пожалей, родимая,
Дитяtko свое!

— то неистовство в зале прервало действие на несколько минут.

Спектакль «Русская свадьба» на сцене Народного дома был воистину незабываемым событием.

Истинно русское хоровое искусство прославленной капеллы пожелало послушать все население Барнаула. Отправили делегацию к Маргарите Дмитриевне. Она любезно уважила просьбу.

Но ни один зал города не мог бы вместить многотысячную массу. Выход из трудного положения нашли. На Московском (ныне Ленинский) проспекте, повыше пассажа Смирнова, соорудили высокую эстраду, на которой и выступила капелла.

Все окружающее эстраду пространство, крыши, балконы и ограды близлежащих домов заполнили слушатели. Капелла, воодушевленная невиданной аудиторией, пела много, до полного изнурения.

Концерт был настоящим народным торжеством, какого еще не знала до того история города Барнаула!..

С шумным успехом батмановцы ставили и пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Песню «Быстры, как волны, все дни нашей жизни» горланили в Барнауле

повсюду. Но спектакль крепко запомнился зрителям еще и потому, что с ним связывалась одна скандальная история.

Блестящее исполнение роли студента Николая Глуховцева артистом Волиным принесло ему и лавры, и беду. Среди экспансивных поклонниц талантливого артиста оказалась и гимназистка, дочь купца-толстосума Федулова. Она навещала Волина в гостинице. Об этом донесли папаше, который и начал «дело» о растлении девицы. Дело стало в городе притчей во языцах. Волина исключили из труппы за моральное разложение, и он очутился безработным. А через некоторое время, заклеянный позором, оставил Барнаул.

Третьей незабываемой постановкой труппы Батманова была трагедия «Эдип-царь» Софокла. Желая возможно ярче и полнее воссоздать стиль и дух древнеэллинического театра, Батманов осуществил эту постановку в городском цирке. Она получилась величественной.

Случилось так, что по окончании театрального сезона в 1913 году артисты труппы Батманова разъехались во все концы страны для заключения новых контрактов. Только комик Картанов все до копейки пропил, и ему с женой, инженеру Перовской, не на что было выбраться из Барнаула. Дело их — труба! Пришли супруги-горемыки к Леониду Петровичу Ешину за советом. И решили поставить «Дядю Ваню» Чехова. Объявили: сбор в пользу любимца публики Картанова.

Дядю Ваню взялся играть сам Картанов, роль профессора Серебрякова поручили Леониду Петровичу, Перовскую, как она ни отбрыкивалась, вынудили изображать Соню. Прочие роли распределили по любителям.

Начались репетиции. Перовская, всегда игравшая наивных, игривых или лукавых девушек, маялась над тяжелой, не подходящей для нее лирико-драматической ролью Сони. Она умоляла мужа заменить ее. Но кем?! Муж был непреклонен: нужны деньги до зарезу!

Готовили пьесу долго. На каждую репетицию Перовская отправлялась, как на костер.

Настал спектакль. С каждым новым актом впечатление от него росло и росло... Идет последняя сцена. Соня плачет «правдишными» слезами. Зал замер... Послышались подавленные всхлипывания и сморкания в платок...

Упал занавес. И через минуту молчания грянули аплодисменты, какие редко слышались в театре Народного дома. Кричали:

— Перовскую! Перовскую!

После актриса говорила:

— Я плакала по-настоящему. Думала: наконец-то отмучилась! Чуждая мне роль истерзала меня, вымотала все нервы!..

Да, так было. Перовская плакала неподдельно, и это потрясло зрителей, которые не знали истинной причины слез актрисы, но видели и чувствовали их «правду».

Много лет спустя я смотрел «Дядю Ваню» в театрах Новосибирска, Свердловска, Одессы и других крупных городов. Видел эту пьесу и в МХАТе. Но Сони, подобной Соне-Перовской, нигде не встречал!

Видно, никакие ультраакадемические, искусственные приемы игры, пусть даже по системе Станиславского, не заменят правды жизни. Я смотрел многие спектакли МХАТа. В них каждая деталь характерна, все предельно отшлифовано, все математически рассчитано. Но при всем том ясно чувствовалась точная, холодноватая, машинная работа. Думаю, это оттого, что и гениальный артист не может искренне переживать те или иные чувства, играя роль 300, 400, 500 и более раз! «Механизация» роли при этом условии неизбежна.

Вероятно, это мое рассуждение — грубая ересь невежды, но я не нашел еще основания для отказа от нее...

Подлинным набатом, призывавшим к революции, прозвучала пьеса «На дне» А. М. Горького. По просьбе зрителей ее повторяли несколько раз. Во время спектаклей в

Народном доме дежурили усиленные наряды полиции. А песня «Солнце всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую известность...

ЦИРК И «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ»

Недалеко от нынешнего дома редакции «Алтайской правды», возле болотистого пустыря, работал цирк. Хотя все программы его не отличались чем-либо остро-оригинальным, в нем никогда не хватало мест. Особенно трудно было протиснуться туда в те вечера, когда выступали борцы. А их наезжало в Барнаул чертова прорва! И русских, и иноземных, и мужчин, и женщин. Все улицы города облеплялись афишами, с которых глядели тучные, мускулистые полуголые красавцы-богатыри с неумными лицами.

Кроме борцов, публику забавляли дрессировщики собак, кошек, свиней, да игра музыкальных эксцентриков на бутылках, смычками на поперечной пиле или на палке с одной струной. Наездницы с прыжками на спинах лошадей и с визгливыми вскриками «опля!», клоуны с плоскими остротами надоедали. Какое-то болезненное неистовство охватывало барнаульцев, когда приезжали на гастроли артисты цирка Коромыслова. Любители грубых, но сильных и острых ощущений тогда ликовали! А мне их восторги казались непонятными и смешными.

Полеты артистов под куполом цирка, мучительное сгибание девочкой своего тела в каральку, вкладывание головы укротителя в пасть льву и прочие номера заставляли меня дрожать от страха за несчастных людей. Какое уж тут эстетическое наслаждение!

Но самое отвратительное зрелище — это борьба женщин. Мясистые, толстозадые, покрасневшие от напряжения и потные, возились они на арене, и парной дух от них разливался по всему цирку!

Если театр воскрешал предо мною живую историю всего человечества, если библиотечные книги сообщали мне крупинки энциклопедических знаний, то дореволюционный цирк не научил меня ничему, что пригодилось бы в моей просветительской работе.

Другое дело — кино.

Первый кинотеатр под названием «Иллюзион» открыла в Барнауле купчиха Лебзина. Стоял он на самом бойком месте города — около собора, на Пушкинской улице. Несколько позже на той же улице, почти рядом с ним, на том месте, где теперь стоит клуб УВД, построили второй кинотеатр — «Новый мир». Кто был его владельцем, не знаю.

В «Иллюзионе» помещение и обстановка были крайне бедными, примитивными. «Новый мир» привлекал публику и довольно хорошим зрительным залом, и просторным фойе, и буфетом, и столом с газетами и журналами.

Хотя старая кинотехника не может идти ни в какое сравнение с нынешней, тем не менее, в «Иллюзионе» и «Новом мире» картины демонстрировались очень хорошо. Толково составленные надписи к кадрам делали содержание картин понятным для всех зрителей. Тогдашние авторы киносценариев строили сюжеты фильмов без всяких ребусов и с логичными концами. Уходя из кинотеатра, зрители четко представляли себе все сцены даже в таких сложных картинах, как «Братья Карамазовы», «Идиот», «Крейцерова соната», «Дворянское гнездо», «Камо грядеши?», «Дети Ванюшина»...

И в «Иллюзионе», и в «Новом мире» все киносеансы сопровождались скрипкой и фортепиано. Лучшими музыкальными иллюстраторами в городе считались пианист Марцинковский и скрипач Свинкин. К веселым картинам и сценам они подбирали музыку из разных композиторов, а к драматическим играли почти неизменно слащавый романс Д. Поппера «В лучшие дни». Благодаря киносеансам, мелодию этого романса я и сейчас могу спеть наизусть.

Когда писались эти строки, в областном городе Николаеве совершала триумфальное шествие по кинотеатрам картина «В компании Макса Линдера». Это — крошка из тех фильмов, в которых играл прославленный комик. Я смотрел ее и ужасался.

Правдив, идейно глубок был в своих комедиях этот гигант экрана начала 20-го века. Теперь же он предстал перед нами только виртуозом-трюкачом. Плохую же услугу оказали памяти знаменитого артиста его потомки и поклонники на Западе, состряпав для кино такой коктейль, как «В компании Макса Линдера»!..

В Барнауле я впервые узнал, что такое «великий немой». Я посещал кино так же усердно, как театр Народного дома, концерты и городскую библиотеку...

ОПЕРЫ ИЛИ ОБЕДНИ!

Симфоническим оркестром Общественного собрания, плохоньким, малым по составу, пополнявшимся в особо торжественных случаях музыкантами-любителями, дирижировал скрипач Абрам Исаевич Клястер (я у него продолжал занятия на скрипке), человек вулканического темперамента. Во время концертов оркестра он так энергично и широко размахивал руками, что наутро нес сюртук к портному — пришивать наполовину оторванные подмышками рукава.

Страдал он и страшной рассеянностью, которая осрамила его на большом концерте, посвященном 300-летию дома Романовых.

Нарядился Абрам Исаевич во фрак. Возшел на дирижерскую подставку, забыв застегнуть пуговицы на брюках. Кто-то из музыкантов жестом показал ему на оплошность. Поняв знак, Абрам Исаевич мгновенно отвернулся от оркестрантов и стал застегиваться на глазах у зрителей!..

В городе существовала единственная частная музыкальная школа А. И. Смирновой, где преподавали лишь игру на фортепиано. Ни разу эта школа не отчитывалась перед общественностью. По крайней мере, при мне.

Но зато в Барнауле славился музыкальный кружок высококультурного работника Управления Алтайского округа Авива Гавриловича Басарева, виртуозно игравшего на скрипке, купленной у проезжего и проигравшегося в карты офицера за 3000 рублей золотом. У этой скрипки был изумительно теплый, золотистый тон.

При постройке своего дома Авива Гаврилович предусмотрел небольшой зал с эстрадой, на которой струнно-смычковый квартет играл классические произведения. Все барнаульские ценители и любители серьезной музыки посещали домик А. Г. Басарева. Бывал там и я.

Но превосходный басаревский квартет почему-то никогда не выступал ни в Народном доме, ни в Общественном собрании. Впрочем, его участники, по горячей просьбе А. И. Клястера, изредка вливались в симфонический оркестр Общественного собрания.

Музыкальное просвещение и воспитание барнаульцев происходило преимущественно в одиннадцати церквях города. В каждой из них пел большой хор. Между хорами бывали даже своеобразные состязания, регенты переманивали к себе лучших певцов из других хоров, платя им повышенные оклады.

Все православные города ходили молиться в свои излюбленные церкви. Самые богатые купцы — в собор, купцы с сумой потоньше — в Богородскую, служилая верхушка и чиновничья знать Управления Алтайского округа — в Дмитриевскую, которая числилась как бы «придворной» церковью этого Управления. Рабочие, мещане и всякая иная беднота распределялись по окраинным церквям — Покровской, Знаменской, Кладбищенской.

При духовном училище была своя церковь.

Рекреационные залы Мариинской женской гимназии и второго городского училища в праздники превращались в церкви. Части залов занимали алтари. В будни эти алтари отделялись от залов специальными подвижными перегородками.

Управление Алтайского округа не жалело денег на содержание хора Дмитриевской церкви, и потому он первенствовал в городе. Им руководил пианист, католик Антоний Иванович Марцинковский, премьер-музыкант Барнаула. Он набирал хористов где угодно и

платил им много. В его хоре в каникулярное время пели артисты Власов, Роза Альперт и студентки консерваторий.

В Дмитриевской церкви все внушало сильное впечатление. Здание огромное, круглое, роскошно украшенное. Священник Иоанн Горетовский с серебряной, как нимб, шевелюрой; голос кричающий, точно выстрелы коростеля. Дьякон — сущее страшилище с пугающим басом. Когда он читал ектению или евангелие, то казалось, что под полом церкви катались огромные шары!..

Горетовский не запрещал хору петь любые сложные произведения. Пользуясь этим либерализмом, А. И. Марцинковский часто ставил целые литургии одного и того же композитора, например, Ипполитова-Иванова, Рахманинова и др. И тогда обедня была не обедня, а настоящая опера, которую ходили слушать совсем не религиозные люди. Где же они иначе могли послушать большую хоровую музыку? Ведь светских хоров в городе не было и в помине! Если общественные организации устраивали светские концерты в пользу раненых воинов (1914, 1915 годы), то и солисты, и ансамбли брались из тех же церковных хоров. Пели в концертах и сводные церковные хоры.

В качестве солистов выступали: лирический тенор, преподаватель духовного училища Владимир Васильевич Титов, бас соборного хора Сергей Сухов и псаломщик собора, баритон Николай Добросердов, впоследствии артист Новосибирской оперы; сопрано сестры Анна и Мария Кузнецовы и тенор Александр Казанцев — из хора Богородской церкви.

Соединенный хор всех церквей участвовал и в таких драматических спектаклях, в которых были сцены с пением большого коллектива, например в «Каширской старине» Аверкиева.

ГАСТРОЛЕРЫ

Кроме хора Маргариты Дмитриевны Агреновой-Славянской, в Барнауле гастролировали знаменитые артисты Роберт и Рафаил Адельгеймы, игравшие фрагменты из трагедий Шекспира, Шиллера и Гуцкова. Их выступления проходили на «привилегированной» сцене Общественного собрания. Видимо, они полагали ниже своего достоинства играть на общедоступной сцене Народного дома.

В начале июня 1913 года в том же Общественном собрании концертировал лауреат Лейпцигской консерватории, виолончелист Богумил Сикора при участии скрипача, профессора Якова Соломоновича Медлина и пианистки Тютрюмовой. Эти превосходные музыканты познакомили барнаульцев с классическими произведениями для виолончели, скрипки и фортепиано: Бетховена, Шопена, Изай, Казальса, Брамса, Паганини, Чайковского, Листа...

Какие-то ветры загнали в Барнаул и итальянского баритона Рески, уже сильно облысевшего и вышедшего «в тираж» на родине, но еще сохранившего довольно сильный и красивый голос.

Всю программу он пел на своем родном языке, а для «шику» исполнил алябьевского «Соловья» на русском, чем весьма насмешил публику, выговаривая слова так:

Жоловэй мой, жоловэй,
Голожижтий жоловэй...

Посетила Барнаул и тогдашняя драматическая актриса и кинозвезда Рощина-Инсарова.

Большим событием в музыкальной жизни Барнаула были гастроли передвижной оперы. Ее спектакли шли в Народном доме под фортепиано и с небольшим хором. Но солисты пели превосходно. Барнаульцы прослушали «золотую серию» опер: «Ивана Сусанина» (прежде она называлась «Жизнь за царя»), «Русалку», «Евгения Онегина», «Фауста», «Демона», «Пиковую даму» и «Риголетто».

Заезжали в Барнаул прогрессивные по тем временам центральные деятели культуры: друг Л. Н. Толстого В. Поссе, критик и литературовед Львов-Рогачевский, публицист С. Яблоновский, профессор Томского политехнического института Некрасов и др.

С живейшим интересом публика слушала глубокие, образные и эмоциональные лекции В. Поссе о браке, семье, школе, о жизни всех общественных классов Западной Европы и России, о вырождении капиталистической культуры, об идеях социализма, проникавших в науку, художественную литературу и во все изобразительные искусства.

Чтения В. Поссе раздвигали перед слушателями широчайшие горизонты жизни, затрагивали самые острые и болезненные проблемы, настойчиво подсказывали «опасные» мысли, хотя лектор ни разу не произнес слово «революция».

Львов-Рогачевский знакомил барнаульцев со всеми литературными течениями начала XX века как в России, так и за рубежом. На множестве примеров из поэтических произведений он разъяснил, что такое декадентство, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, ничевокизм и прочие «измы». Он правильно рассматривал эти течения как уродливые проявления разлагающегося капитализма, как знак отхода творцов искусства от реальной жизни в бездны субъективизма, бредовых фантазий, галлюцинаций и сновидений...

Другой характер носил проезд профессора Некрасова. Он выступал в Барнауле перед выборами в четвертую Государственную думу — осенью 1912 года. Это его выступление имело явной целью искусно завуалированное восхваление либеральной буржуазии и ее политических партий. Сам Некрасов попал в члены последней Государственной думы. Во временном правительстве перед Октябрьской революцией он был министром путей сообщения...

Очарованный концертами виолончелиста Богумила Сикоры, скрипача Я. С. Медлина и пианистки Тютрюмовой, я отважился пробраться в гостиницу, где остановились эти музыканты. Мне нужен был профессор Медлин, у которого я хотел взять несколько уроков игры на скрипке.

Высокий, грузный, с буйной гривой черных волос (мода!), маэстро любезно выслушал мою просьбу и сказал:

— Я в Томске буду весь июнь, а в начале июля уеду в Петербург с отчетом. Если хотите, приезжайте ко мне в июне. Я займусь с вами...

И я с радостью покатыл в «сибирские Афины». Чтобы почти полные сутки отдать игре на скрипке, снял заброшенную на пустыре усадьбы хатушку. Вот, думал, где я поиграю вволю, никому не мешая!

Лег ночевать. Но через пять минут почувствовал огонь во всем теле.

Зажег свет. О, ужас! Все стены, потолок и моя постель — в клопах! Видимо, в хатушке давно не было жильцов, и кровопийцы, чертовски проголодавшись, яростно набросились на меня. Дождавшись утра, я покинул клоповник. Поселился в скромном номерке гостиницы «Золотой якорь», как раз против музыкальной школы Тютрюмовой, где преподавал и занимал квартиру профессор Я. С. Медлин.

Пришел я к нему на первый урок. В передней снял фуражку. Направо — дверь в гостиную. Вижу в щелку: сидят в креслах друг против друга хозяин и Богумил Сикора. Курят гаванские сигары и громко беседуют.

— Изумляюсь, просто изумляюсь! — воскликнул профессор. — Как это можно на таком громоздком инструменте, как виолончель, делать головокружительные пассажи, да еще аккордами, да еще в бешеном темпе!

На ломаном русском языке знаменитый виолончелист ответил:

— Я много, очень много занимался. По пятнадцать часов в сутки! Если какой-либо пассаж не давался мне, я мог играть его тысячу раз, чтобы добиться нужной выразительности...

Затаив дыхание, я долго стоял за дверью, слушая интереснейший разговор больших артистов. Не желая прерывать их беседу, я тихонько ушел обратно.

Урок мой состоялся на следующий день. Прислушав гаммы, Яков Соломонович, улыбаясь, заметил:

— Ваши педагоги, молодой человек, правильно поставили вам левую руку, а правую кисть одеревенели. Надо ее расплавить. Смотрите... Держите смычок вот так, как бы шутя, не впивайтесь пальцами в трость.

И он, взяв скрипку и смычок, показал, как надо расплавлять кисть и не впиваться пальцами в трость. Я начал водить смычком по струнам, подражая профессору. И «чудо» совершилось: рука сразу почувствовала свободу, а звук стал мягче и полнее. Сами слова «одеревенели» и «расплавить» точно определили неправильную и правильную психофизиологию держания и ведения смычка. Как важно, оказывается, педагогу вовремя подобрать образное слово, чтобы легче объяснить ученику способ избавления от ошибки!..

Только с неделю удалось мне позаниматься у Якова Соломоновича: его телеграммой срочно вызвали в Петербург. Уезжая, он передал меня своему лучшему студенту старшего курса — Томилину, который муштровал меня месяца полтора, не взяв за это ни копейки. Этому благороднейшему человеку я обязан многими знаниями из музыкальной грамоты. Лет через 35 я узнал, что он тоже поднялся до звания профессора...

«ЖИВОЙ» КОМПОЗИТОР

До приезда в Барнаул я никогда не видел живого композитора. Тут мне сказали, что в Мариинской женской гимназии преподает пение композитор Семен Васильевич Шаронов.

Узнав его адрес, я в праздничный день без всяких церемоний явился к нему.

— Хочу познакомиться с живым композитором... Топоров Адриан Митрофанович, учитель и неискоренимый любитель музыки, пения и музыкантов! Прошу любить и жаловать!

— Очень рад, очень рад!

Мою руку жал в своей стройный блондин с большими серыми открытыми глазами. Все его широкое русское лицо расплылось в приветливую улыбку. С ним так складно сочетались и тонкие усики с завитками на кончиках, и прямые, как свежая ржаная солома, волосы, закрывавшие уши.

Несмотря на раннее утро, Семен Васильевич уже надел костюм, галстук, манжеты и гуттаперчевый воротничок. На столе шипел самоварчик, лежал завтрак: булки, колбасы, сыр, яйца, балычок. В трех вазах — сахар, варенье, конфеты. На вид Семену Васильевичу можно было дать лет сорок, а он все еще оставался холостяком. На этажерках, полках, столиках и фисгармонии возвышались кучи книг, рукописных нот и новых музыкальных журналов. Со стен глядели портреты композиторов — Глинки, Чайковского, Даргомыжского, Бетховена, Вагнера, Шопена; скрипачей — Иоахима, Кубелика, Губермана, Ауэра; виолончелиста Вержбиловича, писателей, поэтов... На столе, налево от самовара, лежала раскрытая толстенная книжица «Биографии композиторов всего мира». Ее, должно быть, читал хозяин на странице с портретом Палестрины.

Семен Васильевич с простодушной фамильярностью пригласил меня завтраку:

— А давайте-ка сперва поедим по русскому обычаю!.. Прошу!.. Он усадил меня за стол и давай потчевать то той, то другой снедью. В нем еще не выветрился патриархальный русский хлебосол. Уйдя из деревни, он работал в Бийске столяром и одновременно пел басом в церковном хоре. Музыка любил с детства. Самоучкой постиг теорию этого искусства. Намереваясь стать композитором, ездил на специальные курсы в Петербург, Москву и Пермь. Словом, прошел трудный, но плодотворный путь русских самородков.

Моя первая встреча с Семеном Васильевичем длилась семь часов. Мы пели дуэты, играли — он на фисгармонии, а я на скрипке.

С. В. Шаронов написал ворох композиций, но ему не везло с изданием их. Русским воинам, погибшим в первую империалистическую войну, он посвятил величественный «Реквием».

Это произведение напечатало нотное издательство Юргенсона в Москве, прислало уже автору корректуру, но в буре начавшейся революции оно где-то затерялось бесследно.

В советское время Семен Васильевич вместе со мною вошел в ряды активных сотрудников барнаульской газеты «Красный Алтай». Он отличался ненасытной алчностью на всяческие знания. Беллетристику, книги по многим разделам науки и искусства он «глотал» и разбираал по косточкам.

Женился Семен Васильевич поздно, но судьба послала ему спутницу, как нельзя лучше подходящую к его натуре. Ирина Ивановна тоже музыкант, человек добрейшего сердца и благородных устремлений.

Нерасторжимая дружба моя с С. В. Шароновым продолжалась до самой его смерти, а с Ириной Ивановной я переписываюсь и поныне...

Другой сибиряк, оказавший мне помощь в музыкальном образовании, был учитель пения в нескольких учебных заведениях Барнаула — Алексей Александрович Филимонов. Пройдя хормейстерский курс у самого Римского-Корсакова, он в Барнауле занимал «доходные» места. Этому способствовали и высокая петербургская марка, и его «галантерейное» обхождение с бомондом.

Приземистый, толстенький, подвижный, с круглой, лысой и сверкающей, точно полированный шар, головой, он в общественных местах блистал утонченными манерами, резинисто изгибался, осклаблялся, расшаркивался перед дамами, целуя им ручки. В городе его знали все. А за необыкновенную подвижность дали ему прозвище «Колобок». Я пел у него в светском хоре 2-го городского училища. Общительный, веселый, неумно словоохотливый, он рассказывал бесконечные анекдоты, были и, вероятно, небылицы о жизни высшего света Северной Пальмиры. И больше всего — о музыкантах.

В барнаульских кружках меломанов Алексей Александрович много пел, удивляя присутствующих умением неизменно долго держать высокие фальцетные ноты при зажмуренных глазах...

А. А. Филимонов красиво дирижировал хором, с тонким художественным, вкусом толковал нюансировку исполняемых пьес. Он не записывал свои композиции на бумаге, а в компании друзей всегда импровизировал. Ему подносили, допустим, стихотворение Жуковского:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье,
И замолчавшие мечты?..

— и он сразу же придумывал и задушевно пел прелестную мелодию, аккомпанируя себе на гитаре или на пианино.

Как жалко, что этот тонкий музыкант так рано погиб от тифа!..

ИЗГНАНИЕ РАХМАНИНОВА

Барнаульской соборной церковноприходской школой заведовал мозглявенький протопопик Анемподист Завадовский, махровый реакционер и гроза всех городских попов, дьяконов, дьячков и учителей синодского ведомства. А силу большую он забрал потому, что состоял в фаворитах Томского архиепископа Макария, пользовавшегося благосклонностью самого венценосца.

Анемподист требовал от меня, уже законченного атеиста, обязательного посещения церкви, говения и причащения, а я уклонялся от всего этого. Требовал он и обучения школьников пению молитв. Закончив свой урок, протопопик зазывал меня в учительскую и принимался терзать:

- Почему вы не учите детей петь молитвы? А сами-то вы умеете их петь?
- Не умею, отец протоиерей.
- Ну, я вас поучу... Пойте за мной...

И; он, совершенно лишенный музыкального слуха, гугнил нестерпимо фальшиво:

– Бо-го-ро-ди-це де-во, ра-дуй-ся, бла-го-дат-на-я Ма-ри-я, господь с то-бо-ю...

Вцепившись пальцами в мою пуговицу, он понукал меня:

– Ну, ну! За мной, за мной!

Я «тянул» за ним, намеренно усиливая какофонию. Слушавшие нас две учительницы давились от смеха: они знали, что я слегка смыслю в музыке.

– Вот так и детей .учите! — заканчивал Анемподист инквизицию.

Но я не учил. Поняв мое «злонамерение», протопопик стал коситься на меня. Как крайне заскорузлый тупица, он не терпел новых песнопений в богослужении. Регент соборного хора Даниил Киприанович Головка три месяца готовил литургию — музыку С. В. Рахманинова к храмовому празднику Петра и Павла. Правда, эта литургия ничуть не походила на обычные церковные напевы, а представляла собою обширную светскую концертную программу.

Анемподист, служивший праздничную литургию, вытерпел лишь несколько номеров этой программы, а затем, прервав обедню, вышел на амвон и завизжал хорю:

— Прекратите это бесчинство! Пойте как следует!

Регент, жалея потраченные труды хористов, попытался было продолжать программу. Рассвирепевший протопопик снова выскочил из алтаря и, как пересеченный, завопил:

— Я вам что сказал?! Замолчите! Разойдитесь! А то сейчас же позову полицию!..

И хористы разошлись. Так великий композитор С. В. Рахманинов был изгнан из барнаульского собора!..

ЗНАКОМСТВО С РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

В очередное воскресенье мы с Семеном Васильевичем Шароновым играли «Колыбельную» Годара. В комнату тихо, на цыпочках, крадучись, вошел среднего роста чернявый молодой человек с зачесанными на правый бок густыми волосами, с чуть пробившимися усиками и маленькими острыми глазами. На лице его плавала ироническая улыбка.

— А, Костюша! Здорово! Здорово! — прервал музыку Семен Васильевич.

Обратившись ко мне и вошедшему, он шутливо представил нас друг другу:

— Это мой друг Костюша Еремеевич Багаев, жрец Эскулапа, а это — беспардонный, как и я же, любитель музыки, учитель Адриан Митрофанович Топоров. А посему оставим пока скрипку и фисгармонию и поедим во славу божию...

Я жил в большой семье, и встречи с друзьями у меня были неудобны. Мы встречались у Семена Васильевича. Музицировали, говорили и спорили о многом. И я еще тогда заметил, что Костюша сводил наши разговоры на темы политические, ругая черносотенных «зубров» — Пуришкевича, Маркова 2-го, Победоносцева и их поддужных.

В то время «властителем моих дум» был И. К. Михайловский, и больше всего его трактат «Герои и толпа». На мои восторги об этом произведении Костя с ухмылкой возражал:

— А ведь никакой разгениальный полководец без армии ничего не сделает. Да и сам-то он кем выдвигается? Армией! Он потому и ведет армию, что выражает ее волю... Приходите-ка ко мне, я вам обоим дам серьезную книжицу, которая написана в пику Н. К. Михайловскому. Любопытная книжица! Заинтересуетесь!

Костюша жил с семьей на 2-й Алтайской улице. Его утлый домишко походил на двухэтажную скворешню. Казалось, дунь на него сильный ветер — и рассыплется в прах.

Мы с С. В. Шароновым поднялись по «певучей» лесенке на второй этаж Костиной «скворешни». Угостив нас чаем со сдобными шаньгами Костя вынул из сундука затрепанную книжку и подал мне:

— На, и дома поглубже вникни!

Это было «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г. В. Плеханова.

— Тут ты поймешь, что не воля героев двигает историю, а производство, экономика, борьба классов...

Наш новый друг затягивал меня и Сеню в Народный дом на спектакли с революционной идеологией: «На дне» Горького, «Ткачи» Гауптмана, «Уриель Акоста» Гуцкова, «Горькая судьбина» Писемского...

Бывало, проходя по улицам Барнаула мимо громадных пассажей и особняков Смирнова, Морозова, Сухова и Полякова, Костя злобно рычал:

— Смотрите, сколько ареды нахапали! Все это — пот и кровь народные!.. У Сухова шестнадцать домов в городе! Три пуда золотых и серебряных тарелок, вилок, ложек, ножей. Восемнадцать серебряных самоваров разной величины! Да, да! Горничные знают!..

Раз я встретился с Костей на Бийской улице. Он возвращался домой из городской библиотеки, таща кипу книг. Разговорились.

— Ты что теперь читаешь? — спросил меня друг.

— Разное: беллетристику, философию, педагогику...

— А вот это читал?

Он подал мне книгу А. Бебеля «Женщина и социализм».

— Вероятно, трудная?

— Что ты?! Тут, брат, и младенец все поймет! На-ка, почитай. Потом вернешь мне. Я хотел второй раз проштудировать ее. На шестидесяти языках весь свет эту книгу читает. Из нее поймешь самое главное в жизни!

Дома я с упоением погрузился в книгу А. Бебеля и сообразил, почему Костя настаивал на ее прочтении. Рассказывая просто и неотразимо убедительно о положении женщины во все времена и у всех народов, А. Бебель попутно рисует страшную картину векового угнетения всего трудящегося люда на земле и подводит читателя к твердому убеждению о неизбежности мировой социалистической революции для уничтожения гнета, насилия, унижения и эксплуатации человека человеком.

Продумав книгу А. Бебеля, я, ничего еще не зная о Марксе, Энгельсе, Ленине, подверг сомнению свою «веру» в Н. К. Михайловского и дал сильный крен в сторону стихийного марксизма.

В последующих беседах Костя, хитровато улыбаясь, заводил речь о книге А. Бебеля и не скрывал своей радости по поводу того, что я и Сеня тоже восхищаемся творением вождя немецкой социал-демократии Костя Багаев всегда притворялся беспечным, вселым парнем-рубахой. За этой маской он прятал свои умыслы революционизировать взгляды друзей. Говоря по-нынешнему, он «распропагандировал» и Сеню Шаронова, и меня.

Иногда зимними вечерами он сговаривал нас «пошаркать» по Пушкинской (тогда главной) улице, в центре которой находился особняк богача И. К. Платонова. В доме были огромные окна из богемского стекла. В просторной комнате, окна которой выходили на Пушкинскую, росли лимонные деревца. У одного окна под ними стояло широченное, обитое кожей кресло, а в нем под вечер, после обильного чревоугодия, дремал хозяин, отвесив мясистую нижнюю губу. Его туша казалась бесформенной кучей. Занавески у окна не было, и все гуляющие видели это чудище.

Костя намеренно часто проводил меня и Сеню мимо особняка Платонова, вызывая в нас «ярость благородную».

— Смотрите, смотрите, какой гигантский тарантул сидит в кресле! Видать, попил, гад, рабочей кровушки!.. А живет один... с кухаркой. Дерет со всего города за электричество. Снабжает край белой мукой высшего сорта со своих мельниц в Повалихе. На баржах гонит за границу пшеничку... Кровосос!..

Помнится жаркий летний праздничный день. Костя соблазнил Сеню, меня и мастера-обойщика Тимофея Демченко прогуляться в монастырский бор — лучшее место отдыха в тогдашнем Барнауле.

Накупавшись в Барнаулке, мы разлеглись на берегу, в уединенном уголке. По бору разливалась густая сосновая испарина, клонившая ко сну. Но Костя не дал нам предаться неге. Он вытащил из кармана штанов брошюрку и спросил:

— Хотите, я прочту вам сказочку про пауков и мух?

— Брось, Костя! Давайте поспим. Экая благодать, а ты тут со сказкой... Мы же не дети.

— Да нет, эта сказочка как раз для взрослых.

И он прочел нам жгучий политический памфлет Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Отдых наш пропал. «Сказочка» В. Либкнехта всунула нам «ежа под череп». Это был страстный клич к революции! Либкнехт с поразительной силой, простотой и ясностью изобразил все категории социальных пауков и всех мух, которых пауки сосут и убивают ежечасно, всюду и беспощадно.

Теперь уже друзья Кости убедились, что он революционер-подпольщик. Однако он так и не раскрыл нам своей политической тайны...

1914-й год...

Грянула русско-германская империалистическая война. С фронта приходили безрадостные вести о бесплодной гибели русских армий, погубленных предателями из царедворцев и бездарными полководцами. Трагедию войны тяжело переживала вся наша страна.

Пришел я к Сене Шаронову. Стали петь и играть только что сочиненный им «Реквием». В комнату неожиданно влетел возбужденный Костя.

— Друзья! Я мобилизован! Через час должен быть на сборном пункте. Забежал попрощаться...

— Подожди, Костя, — сказал Шаронов. — Послушай мою новую вещь.

И он запел и заиграл «Реквием».

Прослушав музыку, Костя воскликнул:

— Это ты, друг, панихиду, что ли, по мне сочинил? Нет, погоди петь ее! Мы постараемся повернуть штыки и пушки на кого следует. Вот увидите!

И, расцеловавшись с нами, Костя быстро ушел.

С тех пор прошло около 47 лет. Я ничего не слышал о моем старом барнаульском друге.

И вот...

6-е августа 1961 года... Космонавт-2 Герман Степанович Титов совершил свой триумфальный полет в космос. И незаметное до того имя рядового сельского учителя Адриана Топорова неожиданно зазвучало: в печати, по радио, телевидению, на собраниях.

Мой ученик и воспитанник, отец космонавта Степан Павлович Титов, переслал мне письмо Константина Еремеевича Багаева. Он разыскал меня через Степана Павловича. Таким образом и восстановилась моя связь со славным ленинцем, членом коммунистической партии 1909 года, участником трех революций и гражданской войны. Ныне Константин Еремеевич Багаев — персональный пенсионер. Проживает он в Ставрополе на Кавказе.

В ДЕРЕВНЮ!

День мобилизации запасных на первую империалистическую войну в Барнауле ознаменовался грандиозным пожаром. Мобилизованные разгромили спирто-водочный завод и его склады; перепились вдрызг. Как и почему возник пожар, никто точно не установил в те дни.

Когда над городом полыхало зарево, на его улицах пьяные орали песни, тащили в четвертях и ведрах водку и спирт.

Началось ограбление магазинов. Было жутко. Мне рассказывали, что шайка грабителей залезла в ювелирный отдел горящего пассажа Смирнова, а кто-то снаружи

опустил тяжелейшие металлические ставни на огромные окна и двери. И все грабители сгорели внутри пассажира...

Мобилизовали в армию и учителей. Со сборного пункта пригнали нас на пристань и засадили в трюм пассажирского парохода.

Отплыли от Барнаула. Уже вечерело. В трюме раздался крик:

— Все — на верхнюю палубу!

Там служил вечерню сам «апостол Алтая» — Макарий, митрополит Московский и Коломенский, бывший архиепископ Томский. Он на пароходе возвращался из отпуска, который проводил «в благословенном и возлюбленном Алтае».

Солнце недавно село, и запад еще алел. В вечерней тишине пение митрополичьего хора разносилось далеко по Оби. Кругом была такая благодать! А на душе становилось муторно от мысли, что и нас везут на бессмысленную бойню. И ради чего?!

На палубе парохода я впервые увидел митрофорного сибирского инквизитора, о чудовищных преступлениях которого не раз слышал от Леонида Петровича Ешина.

Окончив моление, тощенький, низенький старикашка с ввалившимися щечками, в будничном облачении и митре обратился к слушателям с проповедью на тему: «Положите живот свой за други своя».

Я пристально всматривался в фигурку митрополита. Говорил он тихо-тихо, слегка улыбаясь лисьей улыбкой, то и дело закрывая и открывая малюсенькие, глубоко сидящие глазенки и вздергивая седые брови.

И мне невольно пришло на ум, что этот на вид смиренненький «христолюбивый пастырь» своею высохшей и морщинистой десницей благословил 20 октября 1905 года черносотенную банду на погром в Томске!

Это он написал, напечатал в типографии и повелел расклеить по всему Томску истерическое воззвание «Спасайте царя и православную веру!».

Это он с балкона архиерейского дома произнес для «воодушевления» черносотенных разбойников «напутственное слово»: «Благословляю вас на доброе дело! Не жалейте врага, если бы он даже у вас просил пощады! С богом!»

Черные бандиты сожгли 400 человек в здании Управления Сибирской железной дороги! Такого костра из человеческих тел еще не видывала Россия!

Николай Кровавый высоко оценил холопскую преданность Макария.; возвел его в сан митрополита Московского и Коломенского.

Трудно верилось, что такое ничтожество было вдохновителем кошмарного злодеяния!..

В Новониколаевске (старое название Новосибирска) мобилизованные педагоги расстались с митрофорным зверем. Он — в Москву, мы — в Томск.

В загородной роще нас выстроили в ряд. Подвыпивший полковник остановился против ряда, набычился и рявкнул:

— Что пузо выперли, как беременные бабы?! А еще господа учителя! Стоять не умеете! А ну, ррравняйсь!!!

Мы выравнялись, как могли. Полковник отошел поодаль, провел мрачным взглядом по всему нашему ряду и проревел:

— Впредь до особого распоряжения — по домам! Марш обратно на пристань!

Нас повели. Чье-то сумасбродство заставило сотни учителей мыкаться в Томск и обратно! То же повторилось через месяц.

Меня миновала горькая чаша войны...

К весне 1915 года выяснилось вполне, что взаимоотношения мои с клерикальным начальством крайне обострились. Я категорически заявил всевластному барнаульскому наместнику и фавориту Макария Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в сатану, а потому и ухожу из школы.

Это решение я принял и по другим соображениям. Для поступления в народный университет имени Шанявского у меня уже были все условия: деньги и образовательная подготовка. Но я вспомнил, что в Каплинской второклассной школе Старооскольского

уезда Курской губернии (ныне Белгородской области), где я получил первоначальное педагогическое образование, при всех ее бурсацких недостатках воспитанникам внушали доброе:

— Идите в гущу народную, туда, «где трудно дышится, где горе слышится», то есть в деревню.

Да и прочел я немало о тех интеллигентах-подвижниках, благородных романтиках, которые, отрешившись от всех благ и удобств города, уходили в народ, чтобы просвещать его и тем самым отдать ему исторический долг. Мне стало стыдно перед самим собой за прежнюю мечту: «В Москву! В Москву!».

Пошел я к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу Курочкину и подал ему прошение о назначении меня в одно из сел Барнаульского уезда. Он послал меня в школу села Верх-Жилинского Косихинской волости Алтайского края. Эта точка земного шара ныне известна всем как родина космонавта-2 Германа Степановича Титова.

В конце августа 1915 года я покинул Барнаул. На полученный в нем духовный капитал живу и поныне.

ДРАГОЦЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

Поэт Иван Евдокимович Ерошин как-то подарил мне фотокарточку, на которой снята группа старых алтайских литераторов: он, Илья Мухачев, Александр Пиотровский и Василий Семенов. Снимок сделан в 1926 году.

Драгоценная фотография стоит теперь на моем столе, воскрешая в памяти барнаульские встречи с певцами Алтая...

Александр Степанович Пиотровский... Не могу представить себе человека, который не полюбил бы его с первой же минуты встречи. Приземистый, тощенький блондин с большой круглой головой и орлиным носом, деликатный и по-девичьи застенчивый, он сразу пленял собеседника. Его синие глаза лучились чистотой и кротостью. Во всей его подбористой, аккуратной фигуре, в словах и обращении с людьми сквозил неподдельный артистизм.

Сын польского повстанца, сосланного в Красноярск, он работал народным учителем в селе Зайцеве Барнаульского уезда.

Еще до Октябрьской революции на страницах газеты «Жизнь Алтая» изредка печатались его лирические стихи и маленькие рассказы из жизни начальной школы.

В 1920 году Пиотровский переехал в Барнаул. Из родных у него оставалась только мать-старушка, обожавшая своего единственного сына. Он преподавал литературу и русский язык в средней школе, расположенной в дивной дачной местности за рекой Барнаулкой, в одном из зданий бывшего женского монастыря.

В 1922 году Александра Степановича избрали секретарем Алтайского губернского отдела Союза работников просвещения. Моя членская книжка, сохранившаяся до сего дня, заполнена его рукой 1 декабря 1922 года.

Но так как Пиотровского неудержимо тянуло к творчеству, то в следующем году он принял заведование литературно-художественным отделом в редакции газеты «Красный Алтай». Здесь его постоянно окружали начинающие литераторы. Он был щедр на добрые советы и мог безошибочно угадывать ростки таланта.

Квартира Пиотровского была тесной и бедной. Но, входя в нее, люди окунались в какую-то особенную атмосферу. На стенах комнаты — три-четыре репродукции с картин Левитана, Поленова, Васильева; на столике — изящно оформленные портреты Чехова, Бунина, Есенина; на этажерке лежали аккуратно переплетенные томики стихотворений любимых поэтов — Фета, Тютчева, Блока. А над кроватью, за ковриком, заткнуто диковинное перо какой-то птицы и веточка вербы с распутившимися почками...

Я дружил с Александром Степановичем около двенадцати лет, и поэтому вблизи наблюдал его личную жизнь и литературно-общественную работу.

За консультацией к нему, чуткому ценителю искусства, часто обращались актеры и режиссеры, скульпторы и живописцы, поэты и прозаики. Они откровенно делились с ним своими творческими замыслами и просили совета. Он не отказывал в помощи, но при этом подчеркивал:

— Мне так кажется... Ну, а там — как хотите. Автору виднее.

Помню, Анна Караваева, начинавшая свою литературную деятельность в «Красном Алтае», нередко просила Пиотровского «просмотреть» написанные ею произведения. Первая ее крупная повесть «Флигель», опубликованная в «Сибирских огнях» в 1923 году, предварительно прошла через руки Пиотровского, равно как и ее первые стихи. Я слышал, как Анна Александровна допытывалась:

— Александр Степанович, почему у меня так не выходит, как у вас, — лаконично, емко?.. Смущаясь, он отвечал:

— Да... как сказать? Я просто не умею писать длинно. Длинные стихи без глубокой мысли плохо ложатся в голову. Читателю трудно одолевать их.

Пиотровский писал слишком мало. И лишь тогда, когда его призывал «к священной жертве» Аполлон. Он не понимал, как это можно творить не по настоятельной душевной потребности.

Основное содержание его немногих стихотворений — лирические пейзажи, овеванные романтическими, едва ощутимыми настроениями. В предельно кратко нарисованных и, казалось бы, самодовлеющих пейзажах поэт находит свой поворот темы, и стихотворение приобретает неожиданно волнующий «общечеловеческий» смысл. Помню, меня поразили строгие прозрачно-ясные строки из его «Ледохода».

Там с крутояра-чернозема,
Над зеркалами мутных вод,
Среди березника у дома,
Старик глядит на ледоход.
Реки ломаются доспехи,
С весенним льдом плывет зима:
Дорога, проруби и вехи,
И глыб сугробных терема.
Но почему за далью синей
Утрата их ему больна?
Быть может, там плывет на льдине
Его последняя весна.

Все созданное А. С. Пиотровским почти не выходило за пределы Сибири и ныне незаслуженно забыто.

Поэт не любил спешки в творчестве, а медленно, терпеливо и тщательно гранил свои скупые, но для меня незабываемые стихи.

— Спешить некуда, — часто говорил он. — Спешка — плохая помощница истинной поэзии.

Александр Степанович — поэт-миниатюрист. Из больших его произведений я помню только одно — поэму «По Алтаю». Она напечатана в «Алтайском альманахе», изданном в Петербурге в 1914 году.

Отдельно вышли в свет только два тоненьких сборничка стихотворений поэта. Первый — под названием «Алые сумерки» — был издан в Барнауле в 1922 году. Второй — «Стихи» — там же в 1927 году издал на собственный счет и в убыток бескорыстный любитель и пропагандист советской художественной литературы Василий Михайлович Семенов.

Лирика в духе Фета и Тютчева в двадцатых годах была не в почете, а Пиотровский поклонялся этим представителям «ажурной» и философской поэзии...

В среде друзей Александр Степанович всегда шутил, шаржируя известных барнаульских общественных деятелей: литераторов, врачей, адвокатов. При этом он неподражаемо верно передавал интонации голоса, мимику и жесты пародируемых лиц. Так, весьма популярного в Барнауле врача Велижанина он точно рисовал несколькими фразами:

— А вэс тим-пи-ра-ту-ри-т? Дышите... Еще дышите. Тэ-э-экс!..

Будучи человеком «тише воды, ниже травы», Александр Степанович однако дерзал восставать горой за несправедливо обиженных товарищей. Тяжелого инвалида, но талантливого артиста, драматурга и фельетониста С. Ляликова недолго любил редактор «Красного Алтая». Стоял вопрос об увольнении даровитого, несчастного человека, обремененного большой семьей. И Пиотровский решительно предложил редактору:

— Увольте меня. Оставьте товарища Ляликова: у него же семья. Куда он пойдет, если вы уволите его?!

И карающая десница редактора опустилась...

В двадцатых годах в Барнауле литераторы охотно и часто встречались со своим читателем. Литературные вечера и диспуты устраивались в больших залах, заполненных рабочими и служащими. Александр Степанович бывал неизменным участником этих вечеров. Но его стихи не производили на слушателей сильного впечатления, потому что автор читал их еле слышно. Они были рассчитаны на чтение в интимном кругу. Их задумчивый лиризм совершенно пропадал при громкой декламации в большом зале...

Поэт любил путешествовать по Алтаю и Енисею, где он собирал сказания о былом. Однажды, вернувшись из Красноярска, он рассказал мне о своей встрече с тамошним старожилом.

Старик рассказал поэту интересную историю о том, как муха, нарисованная на чистом листе бумаги, понравилась Красноярскому губернатору и была началом славы великого художника В. И. Сурикова. Спустя тридцать лет я вычитал этот эпизод в монографии, посвящена жизни и творчеству живописца-красноярца.

А. С. Пиотровский был тонким рисовальщиком. Его карандашные пейзажи поражали необычайной поэтичностью. Но он заботливо скрывал их от посторонних глаз. Один из его пейзажей «Березки» долго хранился у меня, но погиб со всеми архивными материалами во время Отечественной войны...

Последний раз Александр Степанович Пиотровский гостил у меня в коммуне «Майское утро» в июне-июле 1929 года. На память об этих днях и осталась групповая фотокарточка.

Покинув Сибирь в мае 1932 года, я потерял следы моего друга. И только в 1957 году Иван Евдокимович Ерошин подал мне печальную весть о Пиотровском:

«Пиотровский — это прекрасный поэт и кротчайшего характера человек. Жил он несколько лет с родительницей в городе Кемерово, учительствовал. После смерти матери от безысходной тоски он пил. Около него не было ни друзей, ни знакомых, кто бы поддержал его в дни одиночества и горя. Так вот он и угас, как в степи огонек, всеми покинутый и забытый. Я жил в Кемерово, расспрашивал местных литераторов нем, но никто не мог мне что-либо сказать, и никто не знает, где его могила...»

АЛТАЙСКИЙ САМОЦВЕТ

Илья Андреевич Мухачев — выходец из семьи алтайского лесоруба. Когда отгремели громы гражданской войны, он некоторое время не знал причала, был в тяжелом материальном положении. Нужда погнала его в Бийск, где он поступил на кожзавод мездрильщиком — сдирал подкожную плеву. Но и тут жилось ему не сладко. Питался кое-как, перебиваясь с хлеба на квас. Ходил в обшарпанной военной шинелишке с кожаными самодельными пуговицами.

Но чуткая душа его жадно воспринимала «все впечатленья бытия и просилась излиться в живом слове. И он стал пробовать свои силы стихах.

Первые стихотворные опыты он отдал еще в декабре 1923 года в верные руки искателя талантов Василия Михайловича Семенова, работавшего в редакции бийской уездной газеты «Звезда Алтая».

К четвертой годовщине комсомола Алтая Илья Андреевич написал стихотворение, которое было опубликовано 8 января 1924 года в «Звезде Алтая». И В. М. Семенов убедился, что Илья Мухачев — незаурядный, но еще «сырой» талант и настоятельно посоветовал ему учиться, читать.

В 1924 году были напечатаны стихотворения Ильи Андреевича «Комсомольцы», «Голодные дети Германии» и «Комсомольцы Алтая». Семенов всячески поддерживал его. В «Обутке» — сатирическом приложении к «Звезде Алтая» — молодому поэту была предоставлена широкая «жилплощадь», и читатели скоро заметили его — стихи и частушки звучали в журнальчике едко и своевременно.

В начале 1926 года Семенов перебрался из Бийска в Барнаул и принял заведование отделом в редакции газеты «Красный Алтай». «Обуток» прекратил свое существование. В Барнаул потянулся и Мухачев. Но здесь он попал из огня да в полымя. В редакции газеты не оказалось для него штатного места, а на внештатную репортерскую работу он был совершенно не пригоден.

Тогда Семенов предложил завести в газете уголок «Колючие факты». С ним согласились. Для «уголка» отбирались подходящие материалы из писем селькоров и передавались Мухачеву. Илья Андреевич сочинял по ним сатирические стихи, которые печатались под псевдонимами: Лука, Крюков, Шило, Зуб и др. Одновременно поэт писал и разные другие стихотворения. Однако гонорара за всю эту работу не хватало даже на мало-мальски сносную жизнь.

Как раз в эту пору он и появился в квартире Александра Пиотровского в доме учителя И. М. Чупрунова на Томской улице. Там я и познакомился с Ильей Андреевичем лично.

Высокого роста, слегка раскосый, одетый в замызганные пиджачишко и брючки, он выглядел медвежеватым деревенским парнем. Застенчивый и угловатый, он говорил так вкрадчиво и робко, точно сообщал собеседнику какую-то тайну. Иногда по лицу его скользила хитроватая усмешка, которая говорила: «Погодите, я вам ужю покажу!» Но когда он, вынув из кармана замусоленные клочки бумаги, читал по ним свои новые стихи, то весь преображался, сидя, казался выше ростом, победно оглядывал слушателей. Обычно монотонный голос его покорял тогда гибкими, задушевыми интонациями...

Освоившись в кругу барнаульских друзей, Илья Андреевич держал себя развязно, много и громко говорил о литературе, рассказывал о своих приключениях, творческих замыслах и восторгался Есениным, особенно его «Москвой кабацкой».

В период увлечения Есениным он написал «Цыганку» — явное подражание своему кумиру. Это стихотворение Илья Андреевич считал тогда своим большим достижением и охотно декламировал его в кружке Пиотровского. При этом он даже изображал пляшущую цыганку, выкидывая характерные антраша, изгибаясь и встряхивая воображаемыми кудрями и серьгами.

Однажды кто-то из участников кружка высказал сомнение в высоких достоинствах экзотических стихов Есенина. Илья Андреевич вмиг ошетинился и разразился саркастической тирадой:

— Эх, вы!.. Слепые и глухие... Мир еще не знал такого тонкого проникновения в суть вещей и души человеческой, какое показал Есенин!.. Нос у многих толст, чтобы почувствовать всю глубину и поэтичность каждой есенинской строчки... Есенин — титан поэзии! Он опередил нашу эпоху на сто лет!..

Его увлечение нездоровыми стихами Есенина было непродолжительной болезнью, которую он превозмог без особых мук. Но, безусловно, осталось на всю жизнь преклонение перед высоким и прекрасным, что создал Сергей Есенин.

В. М. Семенов тогда хорошо зарабатывал, имел просторную квартиру на Интернациональной улице. Одна комната была отведена Илье Андреевичу, но он стеснялся приходить ежедневно, отнекивался. С трудом убедили его хотя бы обедать у Семенова, который в это время усиленно работал над повестью об Алтае. Закончив, он дал Илье прочесть рукопись. И через два дня, за вечерним чаем, Мухачев, пришедший с Пиотровским, прочел свое новое стихотворение «Чуйский тракт». Оно очень понравилось всем присутствующим, как ранее понравилось стихотворение «Камень», видимо, созданное как нечто противоположное стихотворению «Камень» Пиотровского. Тогда Семенов, шутя, обратился к Пиотровскому:

— Казнись, Саша! Илья уже побил тебя «Камнем», а теперь весь Алтай на тебя опрокинул...

Все рассмеялись. А Василий Михайлович уже серьезно продолжал:

— Пора бы тебе, Илья, сборничек стихов издать — ведь много хороших стихов у тебя накопилось.

В Барнауле в 20-х годах не было государственного книжного издательства. Вот почему в июле 1926 года В. Семенов предпринял издание на собственные средства сборника Мухачева «Чуйский тракт», так как был убежден — поэт написал уже немало ценного. Весь тираж — 2000 экземпляров — издатель подарил автору в безусловное его распоряжение. Сдав этот тираж в барнаульский книжный магазин Сибкрайиздата, Илья Андреевич получил 400 рублей — изрядную по тому времени сумму...

Сборник назван первым помещенным в нем стихотворением, на которое поэта вдохновила повесть Семенова «Аргамай». Обложку сборника украсил рисунок известного художника-алтайца Г. И. Гуркина.

Сборник «Чуйский тракт» понравился и моим слушателям — крестьянам в коммуне «Майское утро». Их тронула кольцовская искренность, простота и живописность стихов алтайского поэта.

Помню, Михаил Алексеевич Носов пророчил:

— Из этого Ильи Мухачева разгорится большой поэт...

И он «разгорелся». Начиная с 1925 года, до самой смерти поэта в 1958 году его произведения не сходили со страниц «Сибирских огней» и других периодических изданий Сибири. Лирические миниатюры постепенно сменялись широкими картинами, изображающими советского человека, покоряющего и преображающего природу для счастья всех людей...

ЧЕЛОВЕК С ДУШОЙ НАРАСПАШКУ

Эlegantный брюнет с правильными чертами лица, в темном пенсне — он походил на салонного «жоржика», а на самом деле был парень-рубаха, простак, душа-человек.

Ветры революции и гражданской войны занесли его из Петрограда в Бийск, где летом 1918 года я и подружился с ним. Он печатал в местной газете свои лирические стихи, маленькие рассказы и стихотворные фельетоны, направленные против колчаковских порядков. Подписывал он свои произведения разными псевдонимами. Многие вещи Кравцова беспощадно зарезала цензура. В кругу друзей он читал и выверял свои произведения, но плохо понимал драконовские условия, в которых творил.

Рассказы Кравцова отличались чеховской простотой и тонким психологизмом. Такова его «Эпитафия». В ней изображался старик-дьячок при кладбищенской церкви, от природы наделенный поэтическим даром, который он употребил на составление эпитафий. Но когда умер его единственный и любимый сын, дьячок никак не мог найти для

эпитафии слов, которые выразили бы всю глубину его отцовской скорби. И его «муки слова» окончились просто фразой: «Спи, мой желанный».

Большое впечатление на друзей Кравцова произвел его рассказ «Письмо».

Конец первой империалистической войны. Фронт. Брожение среди солдат. Рядовой Степан Бочкарев, поняв чистым сердцем большевистскую правду, начал агитировать товарищей повернуть штыки и дула назад, чтобы превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Царская охранка ловит его.

Дома давным-давно ждут не дождутся письма от Степана; Наконец, долгожданное письмо приходит. Родные рады, разрывают конверт и читают:

«Рядовой Н-ской части... Степан Бочкарев за призыв солдат к ниспровержению существующего строя осужден к смертной казни».

Так, помню, оканчивался рассказ. И он действовал на слушателей, как неожиданный выстрел.

Увидел ли когда-нибудь этот рассказ свет, я не знаю.

Из стихотворений К. П. Кравцова замечательна сатирическая «Колыбельная», ходившая в Бийске по рукам. В ней автор бичевал террор колчаковских банд, рисовал продовольственные беды населения. Костя предложил ее газете, но редактор вырвал из нее жало. Однако и в кастрированном виде она полюбилась читателям. Антиколчаковского духа выправить из «Колыбельной» никому не удалось.

Все стихотворение забылось, но некоторые строки из него еще живы в моей памяти:

Вот и лампочка погасла...
Спи, сыночек, почивай!
Будет сахар, будет масло,
Будет сало, будет чай.
Гули, ласточки уснули,
Кончив свой полет и труд.
А повсюду свищут пули
И гуляет буйный кнут!
Твой отец, слуга народа,
Скоро выйдет из тюрьмы.
Засияет свет свободы,
Заживем на славу мы...

Квартировал Константин Петрович в заболотной части города Бийска, на окраине. Комната, в которой он ютился с женой и дочерью-подростком, была убогой: потолок провисший, стены кривые, пузатые, в полу зияли большие щели, из которых несло холодом...

В летнее время Константин Петрович писал на грубке: стола письменного у него не было. А зимой свое рабочее место он устраивал просто: садился на кровать, перед ней ставил табуретку, а на нее громоздил длинный дорожный чемодан. На этом чемодане он и написал сатирическую пьесу-сказку «Ивашкино счастье», изданную в Бийске на бурой оберточной бумаге. С большим успехом эта пьеса шла на сцене бийского городского театра, построенного, как говорили, купцом Копыловым, грабившим алтайцев десятки лет!..

По ходу пьесы полагалось петь колыбельную песню. В Бийске же доморожденных композиторов не было. Эту песню сочинил я. Постановкой сказки руководил актер-профессионал Кубацкий — одаренный комик, пьяница и забулдыга. Главную роль пьесы он сыграл превосходно. Так что чудаковатый, но остроумный городской врач Петр Петрович Боржек не зря шутил:

— Да, чтобы так сыграть дурака, надо иметь много ума!..

Считая, что он создал своей игрой славу Кравцову, Кубацкий принялся бесцеремонно «доить» автора «Ивашкина счастья». Сегодня он у него брал десять рублей,

завтра — пятнадцать, послезавтра — двадцать и т. д. Купив на тощий свой гонорар мяса, муки, картофеля, Костя обязательно половину их нес Кубацкому.

— Костя! У нас же у самих нужда, — укоряла его жена. — Развяжись ты с этим Кубацким!

— Но пойми, Нюша, у него же нет ни шиша! А в семье четверо!

В редакции бийской газеты Константин Петрович заведовал литературным отделом. Раз поздно вечером он прибежал ко мне на квартиру и, размахивая в воздухе бумажкой, возбужденно сказал:

— Талант! Матерый талантище!

— Да кто?!

— Кубацкий! Он не только актер, но и поэт! Смотри, какую он штуку завернул! На днях пушу в газете. С редактором я уже договорился. Аванс дал автору — пятнадцать рублей. Конечно, пока из своих личных... Потом сочтемся.

И Костя артистически прочитал мне стихотворение: «Мысль».

Я расхохотался.

— Что ты?! — вскинулся Костя.

— Костя, милый! Это же стихотворение давным давно опубликовано в антологии «Русская муза».

Я достал книгу с полочки и нашел в ней стихотворение «Мысль», подписанное буквой «Д».

— Костя, видишь: настоящая фамилия автора этого стихотворения неизвестна. Твой Кубацкий знал, шельмец, кого удобнее обокрасть. Константин Петрович рухнул на стул и прошипел:

— Как он подвел меня!

Этот скандальный эпизод положил конец дружбе Кости с Кубацким.

Весной 1919 года Константин Петрович перекочевал в Барнаул, снял комнатку на даче родственников Глеба Михайловича Пушкарева. Вернулся в Барнаульский уезд и я. Часто бывал у Кости. Сочувствуя большевикам, Кравцов скрывал у себя дезертиров из колчаковской армии, кормил и поил их, хотя сам крайне нуждался.

В Барнауле Костя печатался редко. В 1925 году летом гостил у меня в коммуне «Майское утро». Коммунары готовили тогда к постановке его сатирическую пьесу-сказку «Ивашкино счастье». На репетициях автор сам был режиссером. Спектакль доставил ему большое удовольствие.

Тоска по Ленинграду неотступно грызла Константина Петровича. И не раз он откровенно признавался:

— Я неисправимый урбанист. Люблю большой город! А тем более— Ленинград!

При первой возможности он туда и уехал. И как в воду канул.

ДОН КИХОТ БАРНАУЛЬСКИЙ

Жарким летним днем 1921 года в палисаднике квартиры А. С. Пиотровского, в бору за рекой Барнаулкой, собралась группа молодых литераторов. Константин Петрович Кравцов шуточно представил приведенного с собою товарища: — Познакомьтесь: шатун всесветный, но благородный поэт неискоренимый патриот Сибири, ходячая энциклопедия, Дон Кихот Барнаульский — Александр Иванович Балин. Прошу зачислить в нашу ложу!..

Ему было на вид не более 30–33 лет. Высокий, тонкий, с сухощавым лицом, на котором сильно выдавался красивый нос с горбинкой, он и впрямь смахивал на рыцаря печального образа. Лохмы небрежно причесанных волос в поэтическом беспорядке покрывали его голову, уши, свисали даже на плечи. Большие светлые глаза лучились тепло и весело. Они сразу располагали к доверию и влекли к себе... Скоро Александр Иванович стал в нашей «ложе» общим любимцем. Всех нас удивляли его огромная эрудиция, скромность и девичья застенчивость...

Высшее образование Александр Иванович начал в Томском университете, а закончил в Казанском по юридическому факультету. В Барнауле на литературных собраниях поэт часто читал свои стихи и выступал с критикой произведений членов объединения. Эта критика доставляла слушателям истинное наслаждение, так как она всегда отличалась солидной аргументацией, правдивостью, утонченной корректностью и благожелательностью.

Александр Иванович никогда особенно не заботился о своей внешности. Живя бобылем, он носил простенький костюмишко, обшарпанные ботинки. В стужу ежился в стареньком осеннем пальтишке и кепке. Детская непрактичность причиняла ему много лишений и неприятностей. Свой скудный заработок он раздавал проходимцам, а сам недоедал.

В Барнауле, на углу Пушкинской улицы и Соборного переуллка, то есть на самом бойком месте, в теплое время почти ежедневно можно было видеть нищего, просившего подаяния. Мы знали, что это был симулянт и алкоголик. Но он так искусно закатывал под лоб глаза, что видны были только их пугающие белки. Сидя на скрюченных ногах возле своей шапки, опрокинутой вниз тульей, он трагическим басом тянул:

— Подайте слепому, не видящему от роду ни солнца, ни луны, ни звезд небесных, ни отца, ни матери... Подайте калеке несчастному. Господь-бог да водворит вас в селениях праведных...

Один раз мы с Александром Ивановичем проходили мимо этого нищего. Поэт бросил в шапку пятак, остановил меня, стянул с тротуара в сторонку и сказал:

— Посмотрите-ка повнимательнее на этого человека. Он, конечно, не слепой, а как здорово закатывает глаза. Как сидит! Прислушайтесь, как трогательно он причитает... Это же настоящий артист! И только за его артистическое мастерство я всегда бросаю ему пятак, даже последний.

Я возмутился:

— Но ведь он же прожженный жулик!

— Знаю, очень хорошо знаю, но люблю всяческие таланты! Поймите: его голос, глаза и поза убеждают публику. Ему верят... Кто знает: быть может, в этом жулике погиб Щепкин или Качалов!

И потом Александр Иванович рассказал мне несколько биографий талантливых людей, ушедших из жизни незамеченными.

Гуманизм Александра Ивановича распространялся на весь живой мир, а иногда доходил до смешного. Он верил, например, в доктрину «всетождества и всеравенства», перенятую у американского поэта-демократа Уитмена, которым, кстати сказать, в двадцатых годах сильно увлекались и некоторые в Сибири.

— Это — вершина гуманистической философии, — убеждал поэт, — она противостоит каннибальской философии фашизма, распространяемой на Западе. Правда, она слишком утрирует свои выводы, доводя их до странного утверждения, что нет существенной разницы между букашкой и Гете, но основная суть ее верна.

— Сомневаюсь, — возразил я. — В одном журнале была напечатана статья о том, что некоторые австрийские аристократки от безделья основали общество покровительства насекомым. На собраниях этого общества всерьез обсуждался вопрос: морально ли убивать клопов?

— Но я же не рекомендую нелепостей австрийских аристократов!..

Человек не от мира сего, Балин очень нуждался в постоянной бытовой опеке, но ее-то и не было у него в Барнауле. Никто не знал, где и чем он питался. Но он никогда и никому не жаловался на свое тяжелое положение. И на вопрос: «Как живете?» — всегда отвечал с добродушно-иронической улыбкой:

— Отлично живу в этом лучшем из миров!

Однако друзья поэта хорошо понимали, что означала эта фраза, потому умышленно зазывали его к себе потолковать, а заодно и покормить чем-либо.

Александр Иванович часто удивлял парадоксами и в суждениях, в поведении. Так, он не терпел галстуков, которые называл «собачьей радостью», не мог без возмущения видеть живые цветы на похоронах.

— И так у нас всегда и всюду. Чтим мертвых. Живых — редко. Цветы на похоронах — это помпезная демонстрация лицемерия. И зачем губить живые цветы вообще? Мне их до боли сердца жаль. Цветы— идеальное воплощение красоты на земле. А люди нещадно уничтожают эту красоту. Надо радоваться живым цветам, ласкать ими глаза, вдыхать их аромат, а не отнимать у них жизнь. Сорванные цветы — трупы...

У каждого человека, любящего живописное и трогательное слово, есть «избранные» поэты. У Александра Ивановича таких «избранных» поэтов, мне кажется, не было. Его широкая душа принимала все истинно высокое, мудрое, прекрасное, созданное во все века и всеми народами.

В кружке А. С. Пиотровского А. И. Балин артистически декламировал произведения многих древних и современных авторов, сопровождая их глубокими и оригинальными комментариями. Помню, художник Морозов стал было «разносить» стихи Бальмонта за их «пустозвонную красоту». Александр Иванович не вынес этого «разноса» и дал художнику страстную, но, как всегда, корректную отповедь. Попутно он прочел кружковцам содержательную лекцию о Бальмонте, о его «чарах слов». В заключение лекции напомнил:

— Антон Павлович Чехов любил Бальмонта. Разве одного этого недостаточно, чтобы Константин Дмитриевич занял достойное место на русском Парнасе? Позвольте прочесть вам только одно стихотворение Бальмонта.

И он прочел:

Если ты поэт и хочешь быть могучим,
Хочешь быть бессмертным в памяти людей, —
Порази их в сердце вымыслом певучим,
Душу закали на пламени страстей...

И затем последовало внушение:

— Каждому поэту нужно переписать это стихотворение и всегда держать его на рабочем столе как напоминание: в подлинно поэтическом произведении должны гармонично сочетаться гибкая и крепкая, как сталь, мысль, красота, как золотой узор, и страсть, подобная раскаленному металлу...

После ликвидации колчаковщины в Барнаульском уезде всюду развернулась кипучая, многосторонняя культурно-просветительная работа. Особенно — в самом Барнауле, где собралось много интеллигентов-беженцев со всех концов России. Необычно забурлила, в частности, и концертная жизнь в городе.

Среди постоянных слушателей концертов был Александр Иванович. Он мечтал о музыкальном воспитании народа, так как вслед за Ушинским считал: когда в наших школах запоют, это будет означать, что мы двинулись вперед.

Еще с 1912 года я знал самого крупного в Барнауле музыканта-пианиста Антония Ивановича Марцинковского. Деловой поляк открыл в Барнауле первый музыкальный магазин под вывеской «Эхо». Он помещался в небольшом домике рядом с кинотеатром «Новый мир» на Пушкинской улице. Конечно, магазин был открыт прежде всего ради наживы, однако он в какой-то мере послужил доброму делу музыкального просвещения барнаульцев.

Все члены кружка Пиотровского были близко знакомы с Марцинковским. Александр Иванович очень хотел, чтобы и его познакомили с «музыкальным светилом» Барнаула.

Зная, что я в коммуне «Майское утро» организовал хор и струнный оркестр, Марцинковский предложил мне купить у него ненужную ему хорошую скрипку. Я сказал:

— Только разрешите, Антоний Иванович, прийти к вам не одному, а с тремя приятелями, которые будут в роли жюри при оценке скрипки.

— Пожалуйста, пожалуйста! — согласился Антоний Иванович.

И вот я, Пиотровский, композитор Семен Васильевич Шаронов и Александр Иванович в условленный час пришли к Марцинковскому. Он жил в роскошной квартире. В зале, где маэстро принял нас, стояли обтянутые малиновым плюшем кресла. Не могу забыть смущения Александра Ивановича, с каким он входил в комфортабельный зал. Поэт, увидев себя в большом и роскошном трюме, как бы окаменел на минуту: так застеснялся он своего непрезентабельного наряда!

— Прошу садиться! — пригласил хозяин.

Я, Пиотровский и Шаронов сели, а Александр Иванович стоял возле кресла и не решался опускаться в него. Я попробовал скрипку, «жюри» одобрило ее. Купля состоялась.

— Антоний Иванович, сыграйте что-нибудь на рояле, — попросил Шаронов.

— Что же?

— Если можно, первую часть Лунной сонаты Бетховена, — осмелел Александр Иванович и сел.

И по квартире полились спокойные, мягкие и торжественные звуки, полился серебристый свет луны, заливающий уснувшую землю, навевающий на душу что-то сладостное и таинственное.

Играл Марцинковский проникновенно. Я взглянул на Александра Ивановича. Из-под ладони, прикрывшей его лицо, выкатилась сверкнувшая слеза.

А когда мы прощались с музыкантом, Александр Иванович крепко пожал ему руку:

— Это — за Бетховена...

По дороге от Марцинковского поэт долго и взволнованно говорил о музыке.

— Из всех искусств музыка — самое могучее средство гуманизации человечества. Жаль, что этого многие не понимают. Но на то и революция, чтобы скоро это поняли все. Приобщение всех трудящихся к искусству надо начинать с музыки. И не с частушек, а именно с Бетховена и Чайковского, с Шопена и Римского-Корсакова. Неправда, будто гении непонятны простому народу!..

Бобыльская жизнь все-таки обрыдла нашему милому Дон-Кихоту. В 1923 году он перебрался в Иркутск, где и женился на доброй, умной и образованной девушке Брохе Моисеевне Школьник, и зажил счастливо. Жена создала ему благоприятную обстановку для творчества.

В течение иркутского периода его жизни Александр Иванович написал большое количество стихотворений. А в 1934 году Восточно-Сибирское краевое издательство выпустило отдельную книжечку его стихотворений под названием «Берег».

ДЛЯ ДРУГИХ

Дядя моей жены Василий Николаевич Данилов до революции служил у барнаульского кержака-миллионера Андрея Морозова, владельца огромного универсального магазина.

В. Н. Данилов любил литературу и искусство, имел большую личную библиотеку, водился с писателями, актерами, художниками. Жена его, Елизавета Федоровна, не перечила ему в этом. Зарабатывал Данилов достаточно, а детей не имел. Он был чужд сквалыжничеству и не нажил даже собственной халупы. Но если он, бывало, находил какого-нибудь талантливого бедняка, то непременно старался помочь ему выйти в люди.

Так, он заметил в одной многодетной и полунищей семье на окраинной Алтайской улице Барнаула мальчика Андриюшу, который хорошо рисовал углем, мелом, карандашом и красками из разноцветных глин.

Андриюша Никулин поздно окончил начальную школу, и Данилов задумал отдать его в художественное училище. Для этого он организовал подписной лист, сам первым внес порядочный по тому времени куш — 150 рублей, чтобы сыграть на самолюбии толстосумных меценатов. Набралась солидная сумма. Андриюша Никулин благополучно закончил среднее и высшее художественное образование. Во все время его учебы

Данилов регулярно оказывал ему материальную поддержку, заменяя родного отца. И даже тогда, когда Андрей Осипович стал «свободным» художником, Василий Николаевич оставался его заботливым наставником.

По складу своей природы Данилов был человеком аккуратным, стремящимся к красоте, к внутренней гармонии. Квартира Данилова, мебель, посуда, одежда, обувь, книги, картины, альбомы, постель, письменный прибор, платяные и зубные щетки и прочие предметы обихода носили печать чистоты и изящества.

Андрей Осипович Никулин был иного склада. Поглощенный всецело думами об искусстве, он безразлично относился к своему внешнему образу жизни: к порядку в квартире, к одежде и обуви, к питанию...

В молодости Андрей Осипович был красавцем. Высокий, стройный, с пышными, до плеч спадавшими волосами, одетый в демисезонное пальто с накидкой, с широкополой шляпой, он заставлял собою любоваться. Но почему-то всю жизнь художник оставался холостяком, бобылем. И хотя зарабатывал он немало, но жил плохо.

В Барнауле жила его сестра Катя. Муж ее, художник-самоучка, рисуя образ богато-отца под куполом высоченной Покровской церкви, упал оттуда и разбился насмерть. У многолетней Кати не было никаких средств к существованию. Андрей Осипович взял несчастную семью на полное свое иждивение...

Данилов ни в ком не терпел распустешества, ни при каких обстоятельствах. Не прощал он этого и Андрею Осиповичу. Как-то художник приехал из Москвы в Барнаул и зашел к Василию Николаевичу. Дело было в начале зимы. Давали себя знать крепкие сибирские морозы, художник ежился в демисезонном, давно обшарпанном и полинявшем пальто с прохудившейся накидкой. Увидев его, Василий Николаевич ахнул:

— Голубчик ты мой Андрюша! Ведь ты же художник! Ну разве ж можно тебе являться из Москвы в родной город в таком архаровском виде? Да и холодно уж, зима! Сибирь!

Художник смущенно оправдывался.

— Ничего... Ничего... Я не мерзну. А накидкой я обертываю голову — и мне тепло. Ничего...

— Но люди-то что скажут про художника-земляка?

— Попа и в рогожке узнают...

— Неужели ты не можешь обрядить себя, как подобает художнику?

— Но, Василий Николаевич, вы же видите в Барнауле нищету, голоду? А в Москве ее куда больше! Надо же быть человеком, помогать. Вы же мне помогли? Помогли!

— Ну хорошо, хорошо... А как же ты, Андрюша, возвращаешься в московском обществе да в таком виде?

— А я никак в нем не вращаюсь... Некогда вращаться, работаю.

— Может, ты и не обедаешь ежедневно?

— Что вы, Василий Николаевич! У меня всего по горло. Видите, какой я Добрыня Никитич!..

Так этот бессеребренник и провел всю свою жизнь для других! Имя художника Андрея Осиповича Никулина на Алтае было широко известно наряду с именами Гуркина и Чевалкова. В Москве устраивались выставки работ художника-барнаульца. В послереволюционное время картины Андрея Осиповича показывали и в родном его городе.

В 1924 году, в квартире Данилова, я последний раз встретился с Андреем Осиповичем, приехавшим в Барнаул навестить родных и друзей. Тогда он работал в одной из московских художественных мастерских. Видно, жизнь бобыля сильно и преждевременно покорежила и состарила художника. Грузный, оплывший и флегматичный, он производил теперь тяжелое впечатление. Глаза его меркли. Тихая, усталая речь нагоняла на слушателей сон. Некогда шелковистые каштановые волосы,

ниспадавшие на плечи, густо задымились, стали короткими и стрелами разбегались во все стороны.

Художник не любил говорить о своем творчестве. На назойливые допросы собеседников он неохотно, вяло, полужесткими ронял:

— Да, кое-что там... написал. А дальше... кто его знает, как оно образуется... Может, что и выйдет... Не те уж силы...

Каков был дальнейший жизненный путь художника, мне неизвестно, знаю только, что в тридцатых годах в Государственной Третьяковской галерее я видел его большое полотно «Алтайские партизаны», вошедшее в золотой фонд нашей живописи.²

ПРОТОДЬЯКОН В РОЛИ ЧЕРТА

1920 год... Композитор Андрей Викторович Анохин преподавал музыку и пение в лучшей Барнаульской средней школе. Он создал отличный ученический хор, который давал в городе много интересных концертов. На эти концерты народ валил валом. Так они были необычны и так их любили барнаульцы.

В программы концертов включались классические произведения, доходившие до Сибири новые песни советских композиторов и сочинения самого Андрея Викторовича, написанные на тексты алтайского фольклора (А. В. Анохин — крупнейший алтаевед).

В зимний сезон 1921 года в Барнауле проходил целый цикл концертов из произведений Андрея Викторовича. Исполнялись, между прочим, сюита для хора и оркестра «Хан-Алтай» и оперы «Хан-Эрлик» и «Талай-хан».

Концерты шли в длиннейшем зале бывшего пассажа купца Полякова. Для усиления школьного хора мужские голоса набирались из любителей со стороны. Оркестр был сводный. Концертмейстером оркестра состоял преподаватель языка и литературы в Барнаульском рабфаке, скрипач Гавриил Сергеевич Федосеев, впоследствии литературовед, критик в Москве, ныне покойный.

В опере «Хан-Эрлик» действует подземный бог Эрлик — олицетворение мрака и зла. По замыслу композитора, это черное чудовище с огромной курчавой головой должно обладать пугающим замогильным басом. Ему в опере отведена главная роль.

Долго искали в Барнауле баса, годного для этой роли, — не нашли. Спектакль стоял перед угрозой срыва. Но вот кто-то предложил:

— В Семипалатинске, в соборе, есть протодьякон с громовым басом. Он как раз подошел бы для роли алтайского черта. Надо договориться с ним...

Послали в Семипалатинск делегата к протодьякону. Он дал согласие играть Эрлика. И черт из него вышел неподражаемый! Он выступал голым (а в зале был страшный холодище!), только с легким опоясанием, весь измазанный маслом и сажой. И ревел жутко, сотрясал пол сцены и наводил ужас на слушателей.

По окончании премьеры оперы автор за кулисами в восторге кинулся обнимать и целовать протодьякона-Эрлика, весь измазался об него сажой и маслом! Долго смеялись...

В январе 1925 года в Москве проходил Первый Всесоюзный учительский съезд. В числе его делегатов от Алтайской губернии был и я. В столице всем делегатам предоставили возможность познакомиться с учебно-воспитательной работой образцовых школ.

По возвращении в Барнаул я делал доклад о ВУСе на губернском съезде работников просвещения. Помнится, в докладе я сказал:

— Конечно, Москва — во всем наш учитель. Там чудес — не счесть. Но мы, алтайцы, здорово удивили товарищей-москвичей, рассказав им о том, что в Барнауле ученический музыкально-драматический коллектив ставил даже алтайские оперы и

2 А. О. Никулин умер в Москве, в 1943 году. В настоящее время наш музей изобразительных искусств готовит выставку работ художника. (Ред.).

исполняет сюиты для хора и оркестра и что этим достижением мы обязаны поэту, ученому, дирижеру и композитору, нашему славному товарищу Андрею Викторовичу Анохину...

После губернского съезда губком Союза работников просвещения устроил скромный товарищеский банкет. Вдруг вижу: сквозь шумную толпу пробирается ко мне корпулентный мужчина с одутловатым лицом и длинными «композиторскими» волосами. Он возбужденно схватил обеими руками мою руку и патетическим шепотом произнес:

— Спасибо!.. Благодарю, что поняли... вспомнили Анохина в Москве!..

Лучший алтайский композитор, поэт и ученый Андрей Викторович Анохин умер в возрасте 57 лет, не успев завершить своих музыкальных, антропологических и этнографических работ...